

Нет, принятаться сочинить повесть, чтоб рассказать ей. Вероятно, вечером буду у них. Нет, ничего не могу делать, потому что расстроен разговором о том, что следует еще дать денег А. И. М[алышеву] для Николая Дмитриевича, чтоб получил он место. Маменька не хочет \*.

## ДНЕВНИК МОИХ ОТНОШЕНИЙ С ТОЮ, КОТОРАЯ ТЕПЕРЬ СОСТАВЛЯЕТ МОЕ СЧАСТЬЕ

Марья Евдокимовна <sup>219</sup> будет именинница завтра, поезжай, по-здравь ее», — сказали мне наши. Она именинница 26 января, понедельник.

И я поехал. Меня пригласили на вечер. Этого мне и хотелось, потому что я было начал любить волочиться после первого опыта, на вечере у Шапошниковых.

И вот там Палимпсестов (2) \*\*, и вот приехали Катерина Матвеевна Патрикеева и Ольга Сократовна Васильева. Невеста их встретила, и они стали среди залы. Я ангажировал их. Невеста танцевать со мною не хотела. Катерина Матвеевна сказала, что танцует со мною 4 кадрили, Ольга Сократовна — третью. Я слышал о ней от Пескова на вечере у Шапошниковых (где он был переодетый старым приказным), что она раз, поднимая бокал, сказала ему: «за демократию». Я был так простосердечен, что принял это не совсем на шутку. (Да и вижу, что, может быть, не совсем шутка, хотя, может быть, не в моем смысле, — 7 марта.) О чем было говорить? До третьей кадрили я увидел, что она девушка бойкая и что с ней можно любезничать. Две первые кадрили я не танцовал, сидел с Ростиславом.

«О чем нам говорить? Начну откровенно и прямо: я пылаю к вам страстною любовью, но только с условием, если то, что я предполагаю в вас, действительно есть в вас».

Мы сидели в это время на диване, который стоит налево от дверей из передней, она на стуле, я на красном диване (рояль была вынесена куда-то, играли музыканты) почти в углу, так что должно было проходить почти подле стульев. Тут сидела Катерина Матвеевна. Проходя во второй фигуре, Ольга Сократовна подошла к ней. — «Что вы сказали ей?» — «Вы хотите знать?» — «Непременно». — «Я сказала, что Чернышевский очень мил». — И разговор продолжался в этом роде. Пылкие объяснения и уверения в их искренности с моей стороны, шуточные ответы на это с ее стороны — что и она влюблена в меня, если так (8).

\* Далее в записях перерыв до 4 марта. Дневник своих отношений с О. С. Васильевой, начатый 19 февраля, Н. Г. Чернышевский вел особо.

\*\* К этой и следующим цифрам в скобках относятся «Дополнения к моему дневнику о той, которая теперь составляет мое счастье», прибавленные Н. Г. Чернышевским 7 и 14 марта. См. ниже.

Через несколько времени Палимпсестов сказал мне: «Она демократка». — Они проходили по зале. Я подошел к ней и сказал: «Мое предположение верно, и теперь я обожаю вас безусловно». — Виноват, в этой кадрили, именно в этой кадрили я несколько раз уж говорил ей: «Вы не верите искренности моих слов — дайте мне возможность доказать, что я говорю искренно. Требуйте от меня доказательств моей любви». (3) — «Да какого же?» — «Какого угодно». — «Так поставьте моему брату 5 в первый же (5) ваш класс». — «Это сделаю, это я делаю и без того. Требуйте чего-нибудь более важного». — Но она была так умна и осторожна при всей своей бойкости, что не сделала никаких других требований. Тут же (доказательство моей неловкости) я сказал, что она поверит моим словам, когда более узнает меня. — «Да где же я буду иметь случай?» (Приписано после: — «Где-нибудь, напр., у Акимовых, у Шапошниковых, где-нибудь», — и я не сказал, что буду бывать у них, если она это позволит — так я робок и ненаходчив.)

Это писано 19 февраля, в 11<sup>1/2</sup> ч. ночи, после ужина.

Половина седьмого, 20 февраля. — Прерываю на время рассказ, чтобы записать свои вчерашние ощущения после решения.

Сказавши такие страшные и странные вещи, давши обязательство такой важности, я чувствовал себя решительно спокойным. Мне даже не казалось это странным. Я ожидал несколько дней, что наши отношения или должны кончиться, или должны привести меня к подобному разговору, конец которого я предугадывал. Итак, я был спокоен, решительно спокоен по окончании разговора.

Так же спокойно посидел я у Чеснокова (4), так же спокойно посидел я вечер дома, спокойно играл в шашки с Николаем Дмитриевичем, дурачился внизу и потом говорил наверху с маменькою о делах Николая Дмитриевича и о том, что А. И. Мал[ышев] должно отвезти еще денег. Решительно спокойно заснул, с большим, чем раньше, спокойствием читал «Fall und Untergang». И теперь я решительно спокоен. Я доволен собою, я поступил так, как должен был поступить, хотя лежит у меня на совести одно сомнение — об аневризме: я знал, что должно будет вести подобный разговор, и раньше должно было дать послушать свою грудь Стефани. Однако аневризму я не верю, и это меня мало беспокоит.

Да, поступил почти как должно было поступить.

Теперь продолжаю свой рассказ.

Я просил О. С. танцевать со мною еще. Она сказала, что может танцевать девятую кадрили.

В промежутке я любезничал в двух кадрилях с Катериною Матвеевною и делал довольно много дурачеств.

Между прочим Палимпсестов мне сказал, что и ему О. С. назвала себя демократкою. И я, проходя мимо нее, сказал, что мое

предположение оказывается верно, что условие осуществилось, и теперь моя любовь к ней безусловна.

Потом, когда она сидела в углу, где стоит образ, я сказал ей, что ей следовало бы жить не в Саратове, а в Париже. Она приняла это за дерзость (и ушла, не давши мне объясниться), потому что поняла [так], что я хотел этим сказать, что она слишком легкомысленна.

Несколько раз я говорил ей, что она кокетка.

Наконец закуска. (Сначала я сидел подле Катерины Матвеевны, потом сел подле нее) (6). Она кормила со своей руки Палимпсестова; я шалил, отнимал у него тарелку, которую держал он на ее коленях и которую после отдала она ему, дурачился страшно, наконец, взял ее салфетку и приложил к сердцу. Воронов хотел у меня ее вырвать, я не давал; у нас началась настоящая борьба — я вырвал-таки эту салфетку. Она попрежнему продолжала шалить с Палимпсестовым, и наконец я сказал ей: «Бросаю вас, гордая красавица». Она обиделась этим и сказала, что не будет со мною танцевать. Я умаливал, упрасивал ее — она ушла в задние комнаты и по возвращении оттуда все не шла танцевать со мною. Я просил брата, который весь вечер был мой визави. Она не шла. Конечно, все это было с моей стороны шутка. Она в самом деле хотела подразнить меня и в самом деле приняла (9) мои слова за оскорбление. — Наконец, я взял вилку и сказал, что проткну себе грудь, если она не простит меня. — «Пусть, пусть, — сказал Палимпсестов, — он этого не сделает». — «Конечно этого я не сделаю, но вот что сделаю, — и я приставил вилку к левой руке, — руку я проткну». — Она, кажется, поверила этому — да и в самом деле я сделал бы это из дурачества. — «Хорошо, хорошо, я танцую с вами», сказала она, закрывая лицо руками. И мы сели у окна на улицу, которое ближе к бабушкиной комнате и к часам. — Я начал говорить любезности несколько серьезным тоном (10) и гораздо умереннее, так что эти фразы заключали уже в себе мало романического (11). — «Вы мне нравитесь, потому что — я не говорю о том, хороши ли вы собою, об этом нечего говорить, — но я теперь могу видеть ваш ум. Я много о вас слышу такого, что заставляет меня смотреть на вас особыми глазами (12), и кроме того в вас есть то, чего нет почти ни у кого из наших девиц — такой образ мыслей, за который я не могу не любить». — «Неужели вы считаете меня настолько глупой, что я поверю вашим словам?» — «Почему же? Я не говорю вам ничего романического». — «А ваше выражение о том, что я парижанка?» — «Вот его смысл: в вас столько ума, что вы должны бы играть такую роль, какой еще не играли женщины в нашем обществе, но какая отчасти уже принадлежит им в Европе, особенно в Париже, где женщина, правда, не равна еще мужчине, но гораздо более, чем у нас, имеет прав, значения и влияния».

(За закускою, когда она протянула руку Палимпсестову, чтобы положить ему в рот какое-то пирожное или сухарь, я поцеловал эту руку — общий смех и крик.)

Итак, мы расстались. Я провожал ее до саней.

Продолжаю 20 февраля, в половине третьего, после обеда. Когда же мы увиделись в следующий раз? Должно быть не раньше катания в следующее за этим воскресенье. Итак:

В следующее воскресенье я был с визитом у Ростислава. Его не застал дома. Все это было пока только обыкновенное желание полюбезничать с кем-нибудь, для того, чтобы иметь случай узнать общество и женщин.

Но буду продолжать после, теперь опишу прямо вчерашние события, пока не спутались они в памяти.

### События 19-го февраля, четверг.

Я после обеда в 3<sup>3/4</sup> часа сидел в гостиной с Николаем Дмитриевичем, играл в шашки. Через несколько времени я должен был отправиться к Николаю Ивановичу, но я колебался,— не побывать ли мне по дороге у Васильевых. Вероятно, я был бы, потому что после событий вчерашнего дня, когда она показала вид оскорбленной, и когда между тем в разговоре мне показалось, будто она сказала, что у них будет в четверг Палимпсестов, мне не хотелось, чтобы она увиделась с ним, сказала ему что-нибудь нехорошее про меня, потому что этот человек был так доверчив ко мне в отношениях с ней. Но я предполагал зайти только на минуту и попросить у нее прощения во всяком случае, будет ли мне время оправдаться или нет; если удастся, то объяснить ей те из своих поступков, которыми могла она оскорбиться. В пятницу она сказала мне, чтобы я был у них, когда я в среду сказал, что желал бы переговорить с нею серьезно. Что я хотел говорить? Я хотел сказать почти то же, что сказал, и действительно, в четверг план у меня был такой:

«Ольга Сократовна! Вы, вероятно, шутите со мною, но, может быть, и не шутите. Во всяком случае я скажу вам, что вы почти решительно увлекли меня и что я был бы счастлив, если бы мог назвать вас своею супругою, но я не могу этого сделать; причин на это много, некоторые из них я не могу высказать теперь. Вот некоторые из тех, которые можно высказать:

1) Живучи здесь, я не буду никогда иметь средств к жизни, потому что теперь я получаю всего 2 000 [р.] ассигнациями в год и более получить не могу. Карьеры здесь передо мной нет никакой; уроков я здесь иметь не могу, потому что никто не захочет иметь такого учителя, у которого нельзя ничему выучиться.

2) Итак, я должен ехать в Петербург. Там жить дорого, и не знаю, скоро ли могу я иметь там средства для жизни. Кроме того, явиться туда женатым было бы для меня плохой рекомендацией в глазах моих петербургских доброжелателей, которые не позволяют молодым людям жениться раньше, чем они окончательно устроят свои дела. А я уеду непременно в Петербург; итак, я должен ехать туда один и связывать себя семейством не могу.

3) Здесь мы не можем оставаться по моим семейным отношениям и по моим понятиям о том, как должен муж жить с женой, — понятиям, которые никак не могут быть осуществлены здесь.

4) Мой образ мыслей таков, что раньше или позже я непременно попадусь<sup>220</sup> — поэтому я не могу связывать ничьей судьбы со своей. Довольно и того уже, что с моей жизнью связана жизнь маменьки.

5) Я не уверен, что у меня нет аневризма или чахотки (последней, однако, я боюсь менее)».

(А причины, которые не хотел высказать, были: мой характер угрюмый, почти неуживчивый в семейном кругу, наконец, такой, что я никак не могу быть главою семейства, а вечно остаюсь каким-то мальчишкой.) (Об аневризме я хочу посоветоваться с Стефани в начале марта, после того, как получу жалованье и буду в состоянии сделать ему какой-нибудь подарок — так это и сделаю теперь.)

«Итак, вы видите, что я не могу быть вашим мужем: я не имею права связывать вас. Но если наше знакомство будет продолжаться, я увлекусь вами до того, что не буду в состоянии удержаться от глупости и подлости просить вас о том, чтоб быть моей женою. После того мне кажется, что наши отношения с вами должны быть прекращены, потому что для меня игра перестает быть игрою».

Вот что я хотел сказать ей в пятницу.

Мало этого однако. Я хотел идти дальше.

Я чувствовал, что если я пропущу этот случай жениться, то с моим характером может быть весьма не скоро представится другой случай, и пройдет моя молодость в сухом одиночестве.

Я был убежден, что с подобною женою я был бы счастлив, и что она именно так держала бы себя в отношении ко мне, как должна держать по моему характеру, и что ее характер таков, какой нужен для того, чтобы мой характер не сделался окончательно серьезно-угрюмым. Я чувствовал, что мне нужно жену с твердым характером, которая могла бы управлять мною. И у нее был именно такой характер. Поэтому я должен сказать, что я почувствовал себе высоким счастьем жениться на ней. Поэтому, чтобы оставить себе возможность не отказаться от надежды на это счастье, я хотел прибавить:

«Как бы то ни было, но я люблю вас; поэтому я позволяю себе сказать вам вот что:

Вы держите себя довольно неосторожно. Если когда-нибудь молва запятнает ваше имя, так что вы не будете надеяться иметь другого мужа, и что вам все-таки будет хотеться получить защиту мужа, то я в таком случае — когда я буду единственным мужем возможным для вас — всегда буду по одному вашему слову готов стать вашим мужем».

Чего я ожидал от этого? Разрыва наших отношений. Но было у меня какое-то предчувствие, что они не разорвутся. Этого я [не] желал. А желал, если выразиться определеннее, я вот чего:

«Вы мне нравитесь, я вам нравлюсь — почему же нам не полюбезничать?» — «Вы боитесь за мое имя?» — «Я за него боюсь. Когда будет нам время разойтись, — мы еще увидим».

Итак, я главным образом хотел начать этот разговор для очищения своей совести от тех упреков, которые она уже начинала делать мне и которые мне высказал, как неминуемое следствие продолжения наших отношений, Палимпсестов. Жалкое средство! Жалкое успокоение!

К счастью моему, вышло иначе. Кончилось тем, что я высказал то, о чем бродили у [меня] только темные мысли, однако, бродили.

Итак, мы сидели за шашками с Николаем Дмитриевичем. Мы сидели в гостиной у дивана. Вдруг вошел Василий Дмитриевич. — «Я имею передать новость, — сказал он, взяв меня к окну (Николай Дмитриевич остался у дивана). — Вот вам высочайший приказ отправляться со мною» — и он показал мне на ладони маленькую записочку (руку я узнал по тем вопросам и ответам, которые мы с нею писали друг другу у Шапошниковых):

«Василий Дмитриевич! Приходите к нам в 3½ часа и приводите с собою Чернышевского. Мне весьма нужно его видеть». Кажется, почти так была написана записка. Постараюсь взять подлинник, если будет можно (если он еще цел).

Я думал, что она хочет помириться со мною, думая, что я рассержен ее вчерашним обращением со мною.

Я пошел одеваться к себе наверх. Там спала маменька. Я боялся разбудить ее, чтобы она не стала спрашивать — куда. Удалось. И мы вышли.

(Оставляю писать, чтобы сходить к Василию Дмитриевичу, главным образом затем, чтобы взять записку, если она еще цела у него.)

Итак, мы пошли. Входим по обыкновению с заднего крыльца. Дверь в комнату Ростислава заперта. Он болен. Мы стоим в недоумении в комнате, которая перед ее комнатою. Из-за ширм тогда раздается голос О. С. — что сказала она, я не помню. Она выходит, здоровается, подает руку. Мы садимся у стола столовой. О. С. выносит билетики, которых два остались у меня. Из-за ширм раздается голос Катерины Матвеевны Патрикеевой: «Я больна». Наконец, выходит, я сажусь *vis à vis*, Катерина Матвеевна на высоком стуле подле О. С., которая у окна. Потом стул начинает шататься, мы меняемся стульями. Продолжаем сидеть. Василий Дмитриевич говорит: «Садитесь подле них». — Я говорю: «Зачем?» — Мне велят они садиться. Наконец, я сажусь. А перед этим еще, когда я сидел *vis à vis*, О. С. заворачивает рукав немного выше локтя: «Смотрите, какая прелестная рука!» — «Это обязывает меня поцеловать ее», — говорю я ей обыкновенным своим вялым тоном. А только что взошедши, я говорю О. С.: «Плохая вы кокетка. Я хотел быть у вас ныне и так, вот почему». — «Да с чего вы взяли, что Палимпсестов будет ныне? Он



всего только раз и был у нас, да и то с визитом». — «Все равно, я ныне был бы у вас».

Разговор почти не идет, оттого что я не хочу говорить не серьезно, а серьезно говорить нельзя, потому что подле Катерина Матвеевна. — Они беспрестанно встают и выходят то та, то другая; наконец, когда раз вышла О. С., Катерина Матвеевна села на ее место. О. С., воротившись, села с другой стороны подле меня. Стул мой был оборочен спинкою к ней, и она положила на спинку свою руку, которую рукав закрывал только до локтя. «Это затем, чтобы я целовал ее?» — «Конечно». — И я начал целовать ее руку у локтя. Не помню, о чем мы говорили. Но это были обыкновенные разговоры в том тоне, что говорил, что она кокетничает со мной и что вызывает меня на любезности и комплименты. Наконец она встала и, сходявши в комнаты матери, прибежала, говоря, что мать хочет меня видеть. И они повели меня за руки, говорили обе: «Только смотрите, не слишком долго сидите, потому что это скучно». — «Это зависеть будет не от меня». — И вот входим. Лицо матери весьма умное. Но видно, что не совсем добрая женщина. Сажусь, и Василий Димитриевич тоже. Разговор ведет мать, так что видно ее уменье. После, если будет нужно, опишу подробнее впечатление. (Описание их шалостей в это время.) Наконец я вижу, что пора уйти, и Василий Димитриевич встает и я вслед за ним. Входим в столовую. Несколько времени говорю не помню что, но в обыкновенном роде, среднее между любезничанием и серьезным разговором. Наконец, я говорю, потому что я приготовлялся говорить еще с воскресенья: «О. С., я имею сказать вам несколько слов серьезно». — «Говорите». — «Здесь нельзя. Пойдемте со мной», — и я беру ее под руку, и мы выходим в другую комнату, которая перед комнатою Ростислава. Не помню, как я начал разговор; кажется, я начал с того, что прошу ее выслушать; так, так, с этого. Мы сели на кровать, которая от двери из столовой налево; она села налево, я направо. «Я буду говорить решительно серьезно и прямо. Но только прошу вас выслушать меня и говорить со мною тоже искренно и прямо, как говорю я... Не знаю, как мне начать... Не умею приискать выражения». И я несколько времени придумывал фразы, потому что в самом деле не знал, как сказать те щекотливые вещи, которые решился сказать. Я не мог видеть, конечно, в каком она положении, потому что смотрел прямо вперед, усиливаясь найти выражения как можно деликатнее. «Не знаю, как сказать, не умею выбрать выражения такие, чтобы они не оскорбили вас». — «Не ищите, говорите, что хотите сказать». — «Это будет не совсем то, чего должно ожидать в наших отношениях». — Я не чувствовал, чтобы моя кровь кипела, но я был в напряженном состоянии, хотя нисколько не терял головы.

«Вот что я скажу вам. Вы держите себя довольно неосторожно. Если когда-нибудь вам случится иметь надобность во мне, вы если когда-нибудь... (я снова не знал, как сказать) вы получите такое оскорбление, после которого вам понадобится бы я, вы можете



О. С. ЧЕРНЫШЕВСКАЯ

Фото. Дом-музей Н. Г. Чернышевского в Саратове



требовать от меня всего». — «Да этого никогда не случится». — «Я знаю, что этого почти не может быть, но если бы... вы можете требовать от меня всего». — «Так вы хотите быть моим другом? Благодарю вас». (Конечно, это сказала она тоном: «вы отказываетесь, как теперь быть?») — Прибежала Катерина Матвеевна, соскучившись, что мы долго сидим одни, пришел Василий Димитриевич, подали чай. Катерина Матвеевна мешала продолжать разговор. «Вы все любезничаете». — «Вовсе нет, — сказали мы (в первый раз я говорю о нас вместе), — вы мешаете» (об участии, детей и ее). — И выпивши чай (стакан шоколадный), мы сказали друг другу: «Пойдемте в другую комнату, оставим их» — и вышли снова в столовую, сели, — она у окна, я по другую сторону стола с длинного бока, так что между нами был угол. Это было в 5½ часов. Я посмотрел 2—3 секунды на нее, она не сводила с меня глаз. — «Я не имею права сказать того, что скажу; вы можете посмеяться надо мною, но все-таки я скажу».

«Вам хочется выйти замуж, потому что ваши домашние отношения тяжелы».

«Да, это правда. Пока я была молода, ничего не хотелось мне, я была весела; но теперь, когда я вижу, как на меня смотрят домашние, моя жизнь стала весьма тяжела. И если я весела, то это больше принужденность, чем настоящая веселость».

«Я не могу, не имею возможности отвечать вам на это тем, чем должен был бы отвечать».

(Продолжаю в 11 часов вечера. А завтра к Стефани, чтоб осмотрел грудь.)

«Скажите, у вас есть женихи?»

«Есть, два».

«Но они дурны? Линдгрэн?» (Это имя я произнес так, что: конечно, уже в числе этих двух вы не считаете его.)

«Нет». (Таким тоном, что: как же это может быть?)

«Яковлев? Он не дурной человек?»

«Поэтому-то я не могу выйти за него. Другой мой жених старинный знакомец папеньки. Когда мы ездили в Киев, мы заезжали в Харьков (к дяде или другому родственнику, как она сказала — не помню я). Там меня сватал один помещик, довольно богатый — 150 душ, но он старик, и я отвечала ему, что без папеньки я не могу согласиться, да не согласилась бы, если б и было согласие папеньки — как же решиться сгубить свою молодость?»

«Выслушайте искренние мои слова. Здесь, в Саратове, я не имею возможности жить, потому что никогда не буду получать столько денег, сколько нужно. Карьеры для меня здесь нет. Я должен ехать в Петербург. Но это еще ничего. Я не могу здесь жениться, потому что не буду иметь никогда возможности быть здесь самостоятельным и устроить свою семейную жизнь так, как

бы мне хотелось. Правда, маменька чрезвычайно любит меня и еще более полюбит мою жену».

(Продолжаю 21 февраля в 7 часов утра перед отправлением к Стефани.)

«Но у нас в доме вовсе не такой порядок, с которым бы я мог ужиться; поэтому я теперь чужой дома — я не вхожу ни в какие семейные дела, все мое житье дома ограничивается тем, что я дурачусь с маменькою, и только. Я даже решительно не знаю, что у нас делается дома. Итак, я должен ехать в Петербург. Приехавши туда, я должен буду много хлопотать, много работать, чтобы устроить свои дела. Я не буду иметь ничего по приезде туда: как же я могу явиться туда женатым?»

«С моей стороны было бы низостью, подлостью связывать с своей жизнью еще чью-нибудь и потому, что я не уверен в том, долго ли буду я пользоваться жизнью и свободой. У меня такой образ мыслей, что я должен с минуты на минуту ждать, что вот явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят меня в крепость, бог знает, на сколько времени. Я делаю здесь такие вещи, которые пахнут каторгою — я такие вещи говорю в классе»<sup>221</sup>.

«Да, я слышала это».

«И я не могу отказаться от этого образа мыслей — может быть с годами я несколько поохладею, но едва ли».

«Почему же? Неужели в самом деле не можете вы перемениться?»

«Я не могу отказаться от этого образа мыслей, потому что он лежит в моем характере, ожесточенном и недовольном ничем, что я вижу кругом себя. И я не знаю, охладею ли я когда-нибудь в этом отношении. Во всяком случае до сих пор это направление во мне все более и более только усиливается, делается резче, холоднее, все более и более входит в мою жизнь. Итак, я жду каждую минуту появления жандармов, как благочестивый христианин каждую минуту ждет трубы страшного суда. Кроме того у нас будет скоро бунт, а если он будет, я буду непременно участвовать в нем».

Она почти засмеялась — ей показалось это странно и невероятно.

«Каким же это образом?»

«Вы об этом мало думали или вовсе не думали?»

«Вовсе не думала».

«Это непременно будет. Неудовольствие народа против правительства, налогов, чиновников, помещиков все растет. Нужно только одну искру, чтобы поджечь все это. Вместе с тем растет и число людей из образованного кружка, враждебных против настоящего порядка вещей. Вот готова и искра, которая должна зажечь этот пожар. Сомнение одно — когда это вспыхнет? Может быть, лет через десять, но я думаю, скорее. А если вспыхнет,

я, несмотря на свою трусость, не буду в состоянии удержаться. Я приму участие».

«Вместе с Костомаровым?»

«Едва ли — он слишком благороден, поэтичен; его испугает грязь, резня. Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня».

«Не испугает и меня». (О, боже мой! Если б эти слова были сказаны с сознанием их значения!)

«А чем кончится это? Каторгою или виселицею. Вот видите, что я не могу соединить ничьей участи со своей».

(На ее лице были видны следы того, что ей скучно слушать эти рассказы.)

«Довольно и того уже, что с моей судьбой связана судьба маменьки, которая не переживет подобных событий».

«Вот видите — вам скучно уже слушать подобные рассуждения, а они будут продолжаться целые годы, потому что ни о чем, кроме этого, я не могу говорить. А какая участь может грозить жене подобного человека? Я вам расскажу один пример. Вы помните имя Искандера?»

«Помню».

«Он был весьма богатый человек. Женился по любви на девушке, с которою вместе воспитывался. Через несколько времени являются жандармы, берут его, и он сидит год в крепости. Жена его (извините, что я говорю такие подробности) была беременна. От испуга у нее родится сын глухонемой. Здоровье ее расстраивается на всю жизнь. Наконец, его выпускают. Наконец, ему позволяют уехать из России. Предлогом для него была болезнь жены (ей в самом деле были нужны воды) и лечение сына. Он там продолжает писать против больше\* и о России. Живет где-то в сардинских владениях. Вдруг Людовик Наполеон, теперь император Наполеон, думая оказать услугу Николаю Павловичу, схватывает его и отправляет в Россию. Жена, которая жила где-то в Остенде или в Диэппе, услышав об этом, падает мертвая. Вот участь тех, которые связывают свою жизнь с жизнью подобных людей. Я не равняю себя, например, с Искандером по уму, но должен сказать, что в резкости образа мыслей не уступаю им и что я должен ожидать подобной участи».

Теперь воротился из класса и принимаюсь писать о посещении Стефани.

Пошел к нему в 8¼. Пошел по Немецкой улице, гораздо дальше, чем дом Полякова, и искал его не на той стороне, наконец нашел. Вхожу — никого, выходит сам Стефани. Идем в залу. Он слушает во всех местах грудь и говорит, что дыхание реши-

\* Два слова неразборчивы; может быть, несколько или отчасти.  
Ред.  
27\*

тельно чистое, что биение сердца весьма правильное и что он ручается, что опасности нет никакой. Что до того, что колет грудь против соска, то это было у него самого и прошло вот только с полгода. Но что биение сердца в самом деле сильное, — конечно, от того, что я взволнован, как бы то ни было, весь: жизнь и смерть — не все равно, и оттого, что я шел пешком. (А я нарочно шел пешком, чтобы биение сердца было самое сильное, какое только бывает у меня.) И что таким образом не должно опасаться ни чахотки, ни аневризмы. Я ему сказал, зачем мне это нужно, что поэтому мне нужен ответ самый строго истинный, чтобы не погубить других. Он сказал, что уверяет меня честным словом. Я пожал ему руку и пошел назад.

Это теперь сняло всякое сомнение с меня. Теперь я готов просить ее о том, чтобы она не выбирала себе другого жениха. Но нет, этого я не скажу ей, потому что это значило бы стеснять ее. Однако я и ожидал, что мои опасения вздор, что они происходят единственно от моей мнительности.

(Садятся обедать, после обеда буду продолжать.)

Продолжаю после ужина, три четверти двенадцатого.

Итак, я дописал до того, что говорил об образе мыслей. Это все говорилось, сидя в столовой у стола, стоящего у окон. Катерина Матвеевна снова начала приставать, скоро ли мы кончим, и мешать и звать в залу. — «Ну, пойдемте», и пошли. Мы сели у окна на двор, которое ближе к улице. Она села к столу спиной вполоборота, облокотясь на окно, я обернул стул и сел боком к окну, переложивши руку локтем за спинку стула.

«Вот видите, наши отношения не должны кончиться тем, чем следовало бы им кончиться, — нам следовало бы их прекратить».

«Правда».

Мы посидели несколько секунд в молчании. Мне стало жаль ее и себя.

«Вы недовольны окончанием моего разговора. Хорошо, если вам угодно, я скажу то, что не должен бы говорить, что не имею права говорить: вы всегда можете обратиться ко мне».

(Здесь вставка о том, что не она увлекает меня, а я сам хотел вести этот разговор и готовился к нему в пятницу.)

«Да вы уедете».

«Известите меня в Петербурге, все равно, и я по первому вашему слову скажу все, что вы от меня потребуете».

Она молчала.

«Вы недовольны этим? Хорошо, я скажу больше: я поеду весною в Петербург, к рождеству я устрою там свои дела и приеду в Саратов. Если у вас не будет другого жениха лучше, я буду просить вас быть моей женою. Но только с тем условием говорю я это, чтобы вы считали себя решительно не связанной никакими обязанностями в отношении ко мне, только с этим условием, не иначе. Хорошо? Так? Итак, я говорю вам: считайте меня своим

женихом, не давая мне права считать вас своею невестой. Довольны ли вы?»

«Довольна».

«Дайте же мне вашу руку в знак согласия».

И я взял ее руку.

«Дайте же мне еще что-нибудь на память этого вечера».

«Что же?»

«Какую-нибудь безделицу, вроде тех, которые вы давали».

И я вынул папиросницу, вынул папиросы, чтобы закурить, — она сказала:

«Дайте одну мне. Вы сами их делали? Она останется у меня на память».

«Нет, не берите — они гадкие, я лучше дам что-нибудь другое».

«Да с вами нет ничего, что бы вы могли дать».

Я ощупал карманы своего жилета.

«Возьмите этот ключ».

«Это, говорят, дурная примета».

«О, все равно».

«Так вы не верите приметам? хорошо. Да чем же вы отопрете ящик?»

«У меня есть другой».

И она вынула связку ключей, чтобы тотчас ввязать его между них. Но встала и ушла ввязывать в другую комнату. Вышедши оттуда, она подала мне тоже очень маленький ключик.

«Я хотела б дать вам этот перстенок, но он нехорош, лучше что-нибудь другое. Я беру ключ от вашего сердца, вот вам ключ от моего».

«Я не требую непременно вполне один владеть им, я прошу только, чтобы в нем было место для памяти о том, что я искренно привязан и предан вам, что я люблю вас».

Когда она снова вошла в комнату с ключиком, я стоял; она села на то место, где раньше сидел я, а меня посадила на то, где сидела сама, так что теперь она сидела у окна, я у стола.

Но ныне же расскажу, как я был у них.

Нарочно дожидался по выходе из класса Венедикта (на дворе) и спросил о здоровье Ростислава — тот засмеялся: «нездоров». Я вчера же, бывши у Николая Ивановича, раскисался, что не был у них — почему? Это было в нашем разговоре с нею. Итак, отправляясь за покупкою перчаток для завтрашнего маскарада, я зашел к ним. Ростислав лежал в столовой. Она сидела за своими ширмами. Я посидел у постели Ростислава и видя, что ему тяжело, пошел. Но уже я слышал из другой комнаты ее разговор с кузиною и хотел попросить ее выйти ко мне. Но они сидели у окна. Она подрубала платок.

«Ольга Сократовна, мне нужно сказать вам два слова».

«Говорите».

«Нет, одной».

«Ну, говорите» — и кузина встала со стула, но стала у шкапа, так что должна была слышать.

«Нет, Ольга Сократовна, выйдите сюда», — и я взял ее за руку. Мы вышли на середину комнаты.

«Мне должно, я думаю, быть завтра с визитом у Анны Кирилловны?»

«Зачем?»

«Я думаю, что визит должно сделать».

«Нет, не к чему — у нас знакомства ведутся не так».

«Вчера, — она все держалась довольно далеко от меня, так что мне нельзя было говорить шопотом, и я положил ей руку на талию, чтобы стала ближе, — еще я говорил с вами не таким языком, каким должен был бы говорить, каким должен говорить жених. Меня мучит это. Завтра я буду говорить другим языком. Тогда было препятствие, которое теперь уничтожилось».

«Хорошо, мы переговорим завтра, — сказала она. — Вы будете?»

«Буду непременно. Прощайте же, Ольга Сократовна».

Я пожал ей руку и пошел. Вышел было уже в ту комнату, которая перед переднею, как встретила меня [старуха] с чаем. Я не хотел брать, но служанка старуха сказала: «кушайте» — и я воротился и сел на другом конце стола.

Она сказала, что получила от Палимпсестова стихи, но уже у нее были присланы, что поручает кланяться Палимпсестову и сказать ему, чтобы он был в маскарade, что она танцует с ним четвертую кадрили, что я буду его визави. «Когда был Линдгрен?» — спросил я. — «Вчера. Вы были вчера у Чесноковых в шоколадного цвета пальто и вчера говорили о вас весьма много». — «Как я счастлив, что есть такие добрые люди, которые говорят не о себе, а обо мне». Я, допивши чай, сказал: «Не думайте, чтобы я пил так долго потому, чтобы мне было приятно оставаться подольше в вашем обществе, а потому, что я не могу пить горячего чаю. Прощайте». — «Так вы будете непременно?» — «Буду».

Теперь  $\frac{3}{4}$  первого, ложусь.

(Продолжаю. 10 часов утра 22 февраля, воскресенье. Вечером буду в маскарade.)

...«прошу только о том, чтобы вы помнили о том, что я искренно и глубоко привязан к вам».

И я замолчал на несколько секунд. А между тем маленькая сестрица ее играла, и Катерина Матвеевна, не знаю с кем, должно быть с Василием Димитриевичем, танцевала, не знаю что.

«Теперь мы с вами почти жених и невеста. Теперь я прошу вас поцеловать меня — это будет залогом наших отношений».

«Нет, я поцелую вас только тогда, когда меня принудят. Нет, это будет меня мучить».



«Я никогда не целовал ни одной женщины».

«И я никогда никого не целовала».

(Конечно, я должен бы сказать, что об этом-то нечего и спрашивать. Это целомудрие при видимом завлечении — например, обнажение руки — сильно подействовало на меня. И я не знаю, что меня более связывало бы: то, если бы она меня поцеловала, или то, что она не согласилась поцеловать меня, — это целомудрие и эти слова, искренние слова: «это будет меня мучить».)

Я говорю, повидимому, спокойно. Но я весь дрожу от волнения (NB. В продолжение всего разговора весьма часто повторял, что я уверен, что жить с нею было бы для меня счастьем).

«Конечно, все это должно остаться тайною. Вы пока никому не будете этого говорить?»

«Конечно».

«И теперь мы должны видаться реже?»

«Конечно».

«Это я буду делать, как мне покажется нужным».

«Если хотите, я не буду выходить к вам, когда вы будете бывать».

Катерина Матвеевна, как уже было несколько раз, снова подошла и приставала, чтоб танцевали. Я встал и сказал, что если она не отойдет, то поцелую ее, и поцеловал ей руку, что ей приятно, но что она боится.

«Как? При мне! Какой бессовестный!»

Катерина Матвеевна ушла, боясь, чтобы я в самом деле не поцеловал ее. Но я едва ли бы это сделал, потому что это было [6] нарушение верности, хотя бы в шутку.

«Так вы в самом деле ревнивы, Ольга Сократовна?»

«В самом деле ревнива».

«Ревновать вам не будет повода»..

«Любили ли вы кого-нибудь уже?»

«Нет, никогда, никого. Только раз в жизни интересовался я одной девицею, чего теперь сам стыжусь. Правда, она хороша, добра, умна, но интересоваться ею было решительно глупо».

«Кто же это?»

«Нет, теперь не назову ее имени, потому что мне стыдно будет перед вами за свое увлечение. Скажу только, что никогда не говорил я с нею ни одной любезности, кроме того, что когда раз одна дама при разговоре о том, кто здесь красавицы, назвала ее, я через несколько дней сказал этой девице, что вот такая-то дама назвала вас красавицею. А потом, недели через две или три (когда, конечно, она уже и позабыла эти слова) я при случае сказал, что люблю всех, кто любит тех, кого я люблю, и поэтому люблю эту даму (NB: это была Прасковья Ивановна Залетаева). Кроме, никогда ни к кому я не чувствовал влечения. Это та девица, с которой, помните, я хотел объясниться предложением ее учить мудрости человеческой. Да, я никого еще не любил. Люблю ли я вас, этого я не знаю, потому что не испытывал никогда любви,

Я не знаю, то ли это чувство, которое я имею к вам. Но я могу сказать, и это будет правда, что с тех пор, как увидел я вас, единственною моею мыслью были вы. Составляет ли это любовь, или для того, чтобы была любовь, нужно еще что-нибудь, не знаю; но что с тех пор, как увидел вас, я думаю только о вас, это правда».

Несколько секунд я промолчал.

Пришли Николай Дмитриевич и Сережа. Мешают. Собираюсь с визитами к Бауэру, может быть Залетаевым. После буду продолжать. Жаль, что не знаю, будет ли она у Акимовых. Однако лучше не быть там. — 25 минут одиннадцатого.

(Продолжаю. 4 часа.)

Я промолчал несколько секунд. Дело решено. Кончилось мое любезничанье. Начинаются серьезные обязанности. Не буду уже более сближаться я ни с одною девицею, я не молодой человек, я семьянин.

«Скоро же прошла моя молодость!» — сказал я, и слезы навернулись у меня на глазах. «Она кончилась нынешний день, а началась с того дня, в который я увидел вас» (т.-е., должен я добавить, у Акимовых) ... (Что однако? Это решительно не в моем характере, это был опасный путь, и хорошо, что он скоро довел меня до конца и конца прекрасного.)

«Да, я всегда позабываю во-время сказать то, что должно сказать: религиозны ли вы?»

«Нет».

«Я должен сказать вам, что я не верю всем этим вещам».

«Я и сама почти не верю».

«Я это сказал потому, что это могло бы в противном случае быть источником огорчений для вас... Но я должен сказать вам, что я делаю вам предложение только потому, что думаю, что этим оказываю вам... (я приискивал слова) оказываю вам услугу. Так ли?»

«Почти так».

«Я говорю вам такие вещи, что вы можете быть искренни. Зачем это почти? Говорите прямо».

«Если хотите, «почти» могу опустить».

«Я человек прямой и искренно привязан к вам. Не думаю, чтобы когда-нибудь я вздумал воспользоваться вашею откровенностью и сказать, что я делаю вам одолжение, женюсь на вас. Нет, вы доставляете мне, вероятно, счастье на всю жизнь. Этого ответа я выспрашивал у вас для того, чтобы мне самому быть спокойным, что я не лишил вас лучшей будущности. Я, повторяю вам, принимаю на себя обязанность быть вашим женихом, не возлагая на вас никаких обязанностей. Так ли? Вашу руку, что вы не будете стесняться в выборе, если бы представился кто-нибудь лучше меня».

Она подала руку.

«Да, относительно приданого. Само собою, что чем менее, тем лучше; лишь бы можно было сделать свадьбу».

(Как просто и благородно сказала она!) «Я приношу вам саму себя. Вот настоящее приданое. Но что мне назначено, то будет мне дано. Не думайте, чтобы я любила наряды. Если теперь для меня папенька что-нибудь делает, то это потому, что он меня любит. И я постоянно отказываюсь от того, что он мне хочет сделать. Я не привыкла к роскоши».

«У нас будет в Петербурге может быть 2 000 р. серебром в год, но едва ли; тысячи полторы, конечно, будет. На эти деньги можно кое-как жить в Петербурге без больших лишений»<sup>222</sup>.

Конечно; разве мы будем давать балы, жить открыто? Я не привязана к удовольствиям».

(Продолжаю в 8 часов вечера перед отправлением в маскарад.)

И снова стали подходить к нам и снова стали мешать, главным образом Катерина Матвеевна.

«Итак, вы выходите за меня потому, что вам тяжело жить дома. Но не позабудете ли вы это, не будете ли раскаиваться?»

«Нет, я слишком много перенесла, чтобы забыть».

«Итак, я ваш жених, если у вас не будет жениха лучше меня. Я вас не стесняю. Но сам обязываюсь. Конечно, я понимаю, что наш разговор не в таком тоне, в каком он должен бы быть, — не так должен говорить жених, предлагающий свою руку. Но я должен был говорить так. Вы недовольны моим тоном?»

«Нет, вы говорили так, как должно».

«Итак, повторяю вам, что я думаю, что жить с вами будет для меня источником весьма, весьма большого счастья. Я буду привязан к вам, предан вам решительно. За это я прошу только, чтобы вы не забывали, что я люблю вас. Теперь вы может быть считаете меня простачком. Но вы увидите, что я не увлекался, не ослеплялся, не обманывался, что я понимаю, что делаю; что я увлекся вами, потому что вы достойны того, чтобы увлечься вами».

К нам снова подошли.

«Наш разговор кажется кончен?» — сказал я.

«Кажется».

«Вы поменялись местами?» — сказал Василий Димитриевич.

«Да, в самом деле здесь роли были наоборот против обыкновенного», — сказал я.

В самом деле — мне делали предложение, я принимал его.

И мы встали и начали прощаться.

«Вы будете в маскараде в воскресенье?»

«Теперь зачем же?» — сказал я.

«Будьте».

«Непременно буду, если вам так угодно. Я танцую с вами первую и пятую кадрили (с Катериной Матвеевной вторую и четвертую). Когда быть мне в маскараде?»

«В 9 часов, мы будем в десятом».

И мы простились.

Да, еще вставка. — Скоро после того, как мы переменялись ключами, она встала и пошла вместе со мною в комнату Ростислава, и Катерина Матвеевна приставала ко мне, много ли я любезничал с О. С. и кого я более люблю. «Вы ребенок», — сказал я. — «А меня вы как можете назвать? — сказала О. С.: — тоже ребенком?» — «Нет, вас я назову не ребенком, а...» — я должен был докончить и мысленно докончил — «моею невестою, которая знает жизнь и испытала ее».

Весь этот разговор был веден спокойным голосом. Но я дрожал от волнения.

После я зашел к Чеснокову, и как тяжело было мне не высказаться и вести такой разговор, чтобы не высказаться!

Теперь, кажется, описан почти весь разговор. Начинаю собирать.

На другой день я чувствовал себя решительно довольным и счастливым, что это произошло так, что я стал ее женихом, во всяком случае в случае недостатка лучшего. Но теперь я готов просить ее быть моею невестою непременно, хотя не должен говорить этого, чтобы не стеснять ее выбора и не отнимать у нее возможности лучшей будущности, если ей покажется, что с другим ее будущность будет счастливее, чем со мною.

Маскарад. (Писано 23 февраля в 7 часов утра.)

С каким нетерпением я ждал маскарада, чтоб говорить с О. С. так, как должно любящему человеку! Это не удалось, но все-таки я доволен, что был, потому что этот маскарад был ее торжество.

Днем я сделал много дел. Не делал только своего. Был у Корелина и у Николая Ивановича, т.-е. для того, чтоб говорить с Прудентовым по его делу. Раньше был у Бауэра; был у Залетаевых. Воротившись, играл до обеда в шашки и писал дневник. После обеда снова в шашки, снова писал. Ходил к Чеснокову; после пришел Василий Дмитриевич и просидел до 8 ч.; как ушел, я тотчас [стал] одеваться с неимоверным парадом; наконец, оделся, надел даже белый жилет — «теперь я одет почти как жених». Приехал ровно в 9 часов. Никого в зале еще, решительно никого. Я вышел на улицу, простоял с  $\frac{1}{3}$  часа. Вошел. Там уже Дружинин между прочим. Я прошел по зале с ним. Гляжу вверх — О. С. на хорах. Я туда. Сел к ней, сказал несколько слов общего разговора. — «Вас зовет Катерина Матвеевна», — сказала она. Я пересел к ней — раньше я не видел ее. «Как вам не стыдно!» — «Я так близорук — сколько раз я раскланивался

с вами, когда это были не вы!» и т. д. — Подсела О. С. Когда Катерина Матвеевна встала, я начал было разговор с О. С.:

«Ольга Сократовна. Мы говорили в четверг серьезно?»

«Конечно».

«Меня мучит, что я говорил не тем языком, которым должно было, которым хотел бы говорить. Мое счастье так велико, что я не смею верить ему, пока оно [не] исполнится».

Но тут начала играть музыка и мы сошли вниз.

В первой кадрили рядом сидел Линдгрэн, и она более говорила с ним, чем со мною.

Я было начал в первой фигуре что-то о своем счастье.

«Здесь могут подслушать, — и она начала другой разговор, — посмотрите, как танцует Неклюдов» — и еще про кого-то.

«Так вы смотрите на него? Смотрите на кого угодно, делайте, что угодно, но только, прошу вас, помните, что вы не найдете человека, который бы любил вас больше, чем я. Помните, что вас я люблю так много, что ваше счастье предпочитаю даже своей любви».

Она отвечала снова чем-то другим — здесь могут подслушать.

«Верно мне придется молчать все время, потому что ни о чем другом я не могу говорить».

«Зачем же? Скажут, что этот кавалер и дама сердиты друг на друга, что не говорят».

Но более я ничего не говорил, кроме самых недлинных замечаний о чем-нибудь. После кадрили ушла она и я ушел куда-то. С Катериною Матвеевной во второй кадрили не говорил почти ничего.

И так время прошло до промежутка 4 кадрили и 5. Я был в бильярдной с Шеве. Вдруг подходит Федор Устинович и говорит: «Твоя дама отказывается от тебя на эту кадрили, однако она хочет сама говорить с тобою». — На три первые кадрили был у меня визави Городецкий, четвертую я не танцевал (третью с Афанасиею Яковлевною), на пятую и шестую едва нашел визави с дамою без маски (Абутькова). Я сказал, что визави мой, для того, чтобы найти по моей просьбе даму без маски, весьма хлопотал, и неловко было бы теперь мне отказаться. — «Однако, знаете, с кем вы хотите танцевать? — с Веденяпиным». — «Если у него нет визави, я могу уступить ему эту кадрили». — «Ну, хорошо, спросите его». Долго отыскивал я его, наконец нашел. Он не мог отказаться от своего визави. Я воротился — «нечего делать». — «Ну, хорошо, я танцую с вами». Эту кадрили я говорил довольно свободно, сказал и о том, что начал вести свой дневник снова. Она много говорила с Долинским, который сидел подле. Между 5 и 6 кадрилию она не танцевала, так же как и между 4 и 5; я более сидел подле нее; говорил о посторонних предметах. (Да, Куприянова она хотела звать на 6 кадрили, но когда я сказал: «Пожалуйста, нет, это низкий, гадкий

человек» — она тотчас сказала: «Хорошо, позовите Пригаровского».)

(Продолжаю 23-го, понедельник вечером, 11 часов.)

Но из этого я увидел, что можно было говорить с нею серьезно, т.-е. что кавалеры могут говорить с девицами и без масок. И я весьма досадовал на себя за свою неопытность. (Просьба Катерины Матвеевны, чтобы скорее 6 кадрили моя, походя с А. Ф. Пластуновым, который с лукавою улыбкою смотрел, как я танцевал, — я наконец в этой кадрили любезничал.) Наконец, после 6 кадрили они собрались уезжать. Мне показалось, что они в уборной, и я их дожидался, а между тем они уехали. Я хотел просить О. С. сказать, когда я могу быть у них, чтобы говорить с нею тем тоном, которым следует говорить жениху.

Итак, мне маскарад был неудачен. Но зато мне Максимов сказал (это перед началом первой кадрили), что Васильева лучше всех девиц. Потом Шапошников сказал то же. Наконец, в другие танцы она была приглашаема более всех, так что, наконец, устала решительно и дышала весьма тяжело и танцевала со мною только первые 4 танца, а потом уж отказывалась почти постоянно и танцевать могла весьма немного. Как она разгорячилась! Как шел ей этот румянец! Да, она была истинно хороша! И я гордился тем, что она моя невеста! Да, гордился и радовался!

Так что вообще я доволен, что был в этом маскараде. Но чувство некоторой ревности было во мне, что она танцует и говорит с другими, а я этого всего не умею и не могу.

Ныне я решился быть у нее, чтоб говорить надлежащим тоном. Или лучше, чтоб спросить, когда могу говорить с нею. И вместо этого говорил. И вместо того, чтобы провести несколько минут у них, просидел более двух часов, в том числе с полчаса с Анною Кирилловною, остальное с нею, и никто нам не мешал.

Но ложусь; завтра опишу этот разговор и впечатление.

(Продолжаю 24 февраля в 7<sup>1/2</sup> час. утра, вторник.)

Вследствие разговора вчера (в понедельник) мне кажется, что я не так влюблен, как раньше, но, как бы то ни было, я вчера весь вечер думал о ней, и эти мысли не давали мне уснуть весьма долго — я беспрестанно просыпался, и как проснусь — она в мыслях. Меня огорчают две вещи в ее разговоре: 1) «получите ли вы место в университете?» 2) «разве все мужья любят своих жен, а жены мужей? довольно привязанности». — Это меня огорчает: теперь я вижу, что мне нужно любви. В следующий раз я должен говорить ей об этом. А вопрос о месте в университете как-то огорчил меня тем, что в нем виден какой-то расчет. Но это последнее пустяки. Как бы то ни было, я все люблю ее, может быть более, чем вчера. Ну, описываю наш разговор.

Я должен был обедать у Кобылиных и потом играл в карты ради Катерины Николаевны, которая, бедная, весьма похудела



и которую мне было весьма жаль, так что я в самом деле с участием смотрел на нее. Наконец, около 6 часов пришел Ал. Ник. и можно было обойтись без меня. Я тотчас отправился к О. С. — под тем предлогом, чтобы узнать о здоровье Ростислава, но в самом деле, чтобы увидеть ее и спросить, когда можно будет говорить с нею. Ростислав спал, я вышел в ее комнату, — снова ее голос слышался из-за ширмы.

«Можно взойти?»

«Нет нельзя», — и она вышла.

«Ольга Сократовна, я пришел попросить вас сказать мне, когда можно будет мне поговорить с вами».

«Если хотите, говорите и теперь. Сядемте».

И мы сели. Она к дверям их кухни с короткого бока стола, я с длинного.

«Я в четверг говорил весьма глупо, так что мне совестно; но что же делать? Я не мог говорить так, как бы мне хотелось тогда, потому что у меня было сомнение относительно моего здоровья».

«А теперь вы поздоровели?»

«Да, я был у одного доктора».

«Конечно, у Стефани, потому что он модный».

«Нет, потому что с ним я несколько знаком, видя его у Кобылина. Итак, я был у Стефани с просьбою посмотреть мою грудь — она весьма низкая и иногда болит; особенно я не могу писать — я думал, что это может быть начало болезни».

Она смеялась — и вообще наш разговор был очень испещрен моими просьбами не смеяться.

«Ну, что ж он вам сказал? Что у вас нет чахотки?»

«Не только сказал, а [и] сказал так, что я уверен в том, что он меня не обманывал».

(О, как сильно начинает мне хотеться снова видиться с ней, чтоб переговорить хорошенько! Я должен сказать ей между прочим, что мне нужна любовь, что без любви ее я буду несчастен; я должен сказать ей, что я сам должно быть в самом деле люблю ее, потому что, несмотря на то, что ревность решительно не в моем характере, я чувствую, что ревную ее, хотя без всякой причины конечно, т.-е. не то, что ревную, а мне завидно, мне жаль, если она хоть частичку своей мысли обратит с любовью на другого.)

(Продолжаю в 9<sup>1/2</sup> часов.)

«... Так что я уверен в том, что он меня не обманывал, мало того: посмеялся над моею грустью [перед] Кобылиным, который сказал мне об этом за обедом».

«Ну, итак, теперь вы спокойны?»

«Не смейтесь, пожалуйста. Да, теперь я во всяком случае уверен, что во мне нет никакой болезни, которая вела бы к скорой смерти. Итак, я теперь спокоен за себя и теперь прошу вас быть моей невестой. Согласны ли вы?»

«Да это будет еще на следующую зиму в генваре».

«Я надеюсь воротиться раньше. Мне нужно только выдержать магистерский экзамен, это я кончу в 2 месяца. (Сейчас только я вспомнил, что тут рождественский пост, и что если это не будет в начале ноября, то должно быть отложено до января.) Итак: если не явится человек лучше меня, вы будете моею женою?»

«Папенька дал мне полную свободу выбирать, но все-таки это зависит не от одного моего согласия. Вы должны переговорить с папенькою».

«И это зависит от вас. Я сделаю это, когда вам будет угодно. Но вы согласны? Даете мне свое слово?»

«Даю».

«Когда я должен переговорить с Сократом Евгеньевичем, зависит от вас: перед отъездом моим или по возвращении. Если вам так кажется нужным, — даже теперь, хотя, по моему мнению, это не годится — это значило бы слишком рано связывать вас».

«Конечно, теперь рано еще. Но пойдемте к маменьке. Она хочет вас видеть».

Мы встали.

«Так я могу надеяться на вас?» — и я взял ее руку в свою.

«Можете».

В коридоре попался Сократ Евгеньич в рваном халате и поступил почти как Венедикт — чуть не убежал и едва поклонился, когда она сказала: «Папенька, рекомендую вам М-г Чернышевского».

Мы вошли в зал.

«Долго мне сидеть? Недолго?»

«Конечно, недолго».

Анна Кирилловна сидела в зале. Она умная женщина. Я не знал, как кончить разговор, и просидел более получаса. Наконец (она через 10 минут ушла), она выручила меня, введя Тыщенко. Я раскланялся. Теперь мы вышли в зал и сели снова на прежнем месте, где сидели тогда, только с тою разницею, что я сел к столу, она налево от меня.

Да, при самом начале разговора я сказал:

«Вот вы видели вчера, как я неловок: я даже не сумел поговорить с вами. Не будете ли вы стыдиться такого мужа?»

«Да, что вы неловок, нельзя не сказать; но разве мне нужно франта? Я не буду ни выезжать, ни танцовать».

«Скажите же, будете вы завтра на бале? Если будете, буду и я, чтоб полюбоваться вами».

«В самом деле? Хороша я была на вчерашнем бале! В своих голубых шу (shoux), которые, как сказали мне, вовсе не идут ко мне».

«Я не знаю, идут ли они к вам или нет, но вы вчера были царицею бала».

«Ну, долго вы засиделись. Уж я привела Тыщенку, чтоб вы ручить вас. А уж маменька вас полюбила, и я думаю согласилась бы, если бы вы даже теперь сделали предложение».

«Это так, это я сам вижу. Да, я знал, что ей понравлюсь своею скромностью. Да, она очень любит скромных и поэтому-то так не любит вас. Ваша матушка женщина умная; говорят про нее, что она женщина тяжелого характера; она не любит вас, думаете вы; но если она недозволна вами, это может быть потому, что она опасается за вас».

«Да, от слишком сильной любви».

«Позвольте же мне продолжать наш разговор. Я может быть, кажется вам, поступил безрассудно, неосмотрительно, прося вашей руки, между тем как так мало еще времени знал вас. Но поверьте — и впоследствии для вас, когда вы меня более узнаете, это будет понятно, что я поступаю рассчитанно и совершенно благо-разумно».

«Конечно, не могли же вы сделать это только потому, что 3—4 раза видели меня».

«Видите, я человек весьма мнительный, но вместе с тем и само-надеянный в некоторых случаях. Во всяком случае я уверен, что могу полагаться, [что] впечатление, которое производит на меня человек, бывает верно. Что вы добры, это я знаю — конечно из мелочей, из пустяков, но эти пустые случаи совершенно достаточны, чтобы быть уверену в том, что у вас доброе сердце. Что вы умны, и это уже я решительно знаю. Одним словом, я весьма хорошо знаю, почему я поступаю так».

«Да ведь вы женитесь на мне из сострадания».

«Боже мой, к чему говорить такие вещи?»

«Ведь вы сами же это сказали».

«Разве таков был смысл моих слов? Видите, я настолько умен, что не мог бы никогда полюбить такой девушки, которая на мою привязанность к ней могла бы смотреть с сожалением и насмешкою. А разве вы пошли бы за меня, если бы ваше положение не было тяжело?»

«Что же особенного в моем положении? Я уже так привыкла к нему, что для меня оно не тяжело (она сказала это тоном, в котором не было заметно насмешки, но который высказывал: «да, мое положение тяжело»).— Ведь говорили же, что хотели жениться на какой-то девушке из сожаления к ее положению?»

«Вот видите, в самом деле, как скоро я узнавал, что положение человека, к которому я чувствовал расположение, тяжело, моя привязанность к нему тотчас усиливалась. Скажите ж, почему вы согласились выйти за меня? Что вы во мне думаете найти? Если бы ищите более всего привязанности, то в самом деле вы не раскаетесь в выборе, потому что я чрезвычайно буду любить вас. Я и теперь чрезвычайно предан вам — не знаю, любовь ли это (теперь я знаю, кажется, что любовь в самом деле) — потому что я никогда еще не испытывал любви, — и эта преданность будет все бо-

лее и более увеличиваться. Если б вы полюбили меня хоть половину того, как я буду любить вас! Но и в этом не смею быть уверен...»

«Вы мне нравитесь; я не влюблена в вас, да разве любовь необходима? Разве ее не может заменить привязанность?»

(Это меня огорчило. Я теперь чувствую — т.-е. [когда] вот теперь пишу это — что у меня на глазах навертываются слезы.)

«Ну вот видите, если я (может быть) кажусь весьма слаб, то не думаю, чтобы я в самом деле был решительно дрянью. Правда, я кажусь вял, апатичен, но у меня есть и энергия. И я могу выказать силу. Я могу, когда понадобится, решиться, на что не все могут решиться; а решившись, сделать ничего не стоит. И если понадобится, я могу защитить себя или кого бы то ни было».

(Николай Димитриевич вошел и начинает говорить — я должен перестать. Буду продолжать, как только будет можно, потому что мне пища припоминается разговор хорошо.)

(Да, я хочу просить ее позволения сказать о моем намерении (не говоря о ее согласии) папеньке, который в самом деле любит меня.)

(Приписано в 5 час. по возвращении от Кобылиных.) — Нет, я рассудил, что теперь еще рано, но что перед отъездом можно. Но раньше должно переговорить об отъезде с маменькою.

(Продолжаю наш вчерашний разговор. 5 часов.)

«...У меня, правда, характер, повидимому, вялый, но я способен и увлекаться, способен и быть энергичным. Что же [вы] ищете в муже? Что вы нашли во мне такого, за что согласились выйти за меня? Если вы ищете привязанности, то смело могу вам сказать, что я буду предан вам в самом деле всею душою.

Вы находите во мне ум, то в самом деле я скажу вам без самохвальства — этого я никогда никому кроме вас не сказал бы и обыкновенно говорю противное, — что ум во мне в самом деле есть. (11 часов, после возвращения от Кобылиных, где были вместе с маменькою.) Я не имею гениального ума, не могу создать чего-нибудь нового, но что сделано другими, то я способен понять. Я понимаю, что из чего следует, что к чему ведет, я понимаю связь и отношение различных вещей и мнений. Обо мне говорят, что я очень высокого мнения о своем уме — я никому не сознаюсь в этом, но вам я скажу, что это правда. В Саратове, напр., я считаю себя выше всех по уму. Я не говорю о молодых людях — может быть, в числе гимназистов есть несколько человек выше меня по уму; я не говорю о людях, не принадлежащих к одному классу со мною по образованности... (О, как мне нетерпеливо хочется снова видеть ее, чтоб переговорить с нею, чтоб больше узнать ее!) ... умных людей, которые мало образованы, я весьма ценю и готов поставить многих выше себя, — но из людей, стоящих на одной ступени образования, я не знаю в Саратове ни одного, которого бы я равнял с собою».

«Костомаров, говорят, тоже весьма умный человек».

«Это правда; но я ставлю себя выше его; это я скажу только вам; ему и другим я всегда скажу, что никак не равняю себя с ним. Видите, я начинаю самохвальствовать — это не в моем характере, но я говорю с вами совершенно откровенно. И вы со мной можете говорить совершенно откровенно».

«Я говорю совершенно откровенно; так, как с вами, я не говорила ни с кем».

«Итак, если вы хотите выйти за меня потому, что вы видите во мне ум и добрый характер, вы не раскаетесь. Что касается до того, как мы будем жить, — я человек весьма мнительный, я не уверен даже в том, в чем должен быть уверен, но я смею сказать вам, что надеюсь, что со мною вы будете жить [не] хуже того, чем жили до сих пор».

«Хуже того, как я теперь живу, не может быть ничего».

«Нет, я говорю про материальные средства и удобства. Я надеюсь, что не доведу вас до лишений в том, чем вы пользовались до сих пор».

«Вы не будете профессором в университете?»

(Этот вопрос как-то огорчил меня — отчего, я сам не понимаю — мне кажется, что в нем проглянул какой-то эгоизм или — сейчас только нашел я настоящее выражение для своего до сих пор темного чувства — мне показалось, что выходят не за меня, а за профессора университета, как вышли бы за председателя или что-нибудь в этом роде, выходят не за человека, а чиновника, но нет, это было сказано так потому, что ей представлялось, что от этого зависят средства к жизни.)

«Я этого положительно сказать не могу. Кафедры теперь нет. Если бы открылась, я вероятно получил бы ее; открыть для меня новую кафедру едва ли захотят. Но я должен вам сказать, что по своей недоверчивости я представлял себя в худших отношениях к людям, чем было в действительности. Несмотря на свою недоверчивость к себе, несмотря на то, что мои слова будут похожи на самохвальство, я скажу вам все-таки, что я оставил по себе некоторую репутацию в Петербурге. Напр., в военно-учебных заведениях я прослужил всего месяца четыре и не предполагал, чтобы мною были особенно довольны — все-таки меня не забыли там. Напр., в прошлые каникулы пронеслись в военно-учебных заведениях слухи, что я еду в Петербург. Я сам не писал ничего, следовательно, эти слухи были весьма не положительны — все-таки для меня там тотчас назначили место. Я этого не знал; вдруг мне пишут: что же я не еду? вышли из терпения дожидаться меня; мои классы остаются незаняты; если я не приеду в скором времени, их принуждены будут отдать другим. Я отвечал, что не поеду. Это, конечно, должно было невыгодным для меня образом подействовать на тех, которым хотелось это сделать для меня. Хорошо. Новый случай. Хотят изменить курс словесности в военно-учебных заведениях. Программу пишут люди молодые, дель-

ные, однако, по моему мнению, бестолковые — учителя словесности все недовольны ею кроме одного. Правительство назначает диспуты. На эти диспуты вызывают меня, чтоб поддержать программу. Я не поехал. Это была большая потеря для меня, потому что диспуты были торжественные, на них присутствовал наследник. Я наделал бы там шуму, я в этом уверен, потому что уж у меня такая привычка: начинается спор — я сначала не хочу участвовать в нем, потому что мне или предмет кажется не стоящим спора, или спорят о пустых пунктах вопроса, или мнения кажутся мне слишком нелепы. Итак, я не хочу мешаться и только из приличия от времени до времени поддакиваю и обыкновенно стараюсь поддакивать обоим сторонам поочередно, стараясь подметить в словах то одного, то другого что-нибудь такое, с чем можно согласиться. Но, наконец, это мне надоедает, и я начинаю сам спорить и уже тут я перекричу всех, потому что уже так устроен и, убедятся они или нет, но я-таки перекричу их всех. Я скажу без преувеличения, что я могу спорить и нелегко спорить со мною. И вот я потерял случай приобрести репутацию. Что я не приехал на диспуты, сильно раздосадовало моих доброжелателей, оттого что они надеялись иметь во мне опору и не получили ее. Но между тем, ругая меня за то, что не приехал, мне [все-]таки написали, что когда я ни приеду в Петербург, место для меня всегда готово. Я надеюсь получать целковых 700 или 800 жалованья. (Теперь, когда пишу, я вижу, что сказал мало, потому что 27 часов, которые мне бы дали, доставили бы по 30 р. за час, а я верно получил бы более — уже 810 р. сер.)

Кроме того я буду писать. Если бы у нас цензура была хоть несколько послабее, не хвалясь скажу, что я имел бы голос в нашей литературе. Теперь это трудно. Но все-таки я надеюсь быть не из числа самых дюжинных писателей. (NB: Как жаль, что я не сказал снова, что у меня доходов будет никак не менее 1.500 руб. сер.) Одним словом, я надеюсь, что не доведу вас до того, чтоб вы нуждались в том, к чему привыкли.

«Я не хочу ни выезжать, ни танцевать, потому что все это не имеет для меня особенной приятности».

«Что касается до этого, я так мало знаю петербургскую жизнь с этой стороны, что не знаю, возможно ли будет это — кажется возможно».

«Я сама не захочу, если бы даже вы этого хотели. Я не аристократка, я демократка».

«Что вы хотите сказать этим? (по обыкновению совершенно тихо и несколько не огорчаясь тем, что предполагал возможным такой смысл) — посмеяться над моими мнениями?»

«Вовсе нет. Я не аристократка, я демократка. Я не хочу бывать в собраниях в Петербурге и танцевать».

«Возможно ли там это, я не знаю. Да, еще один вопрос: умеете ли вы хозяйничать, потому что я решительно не умею распоряжаться деньгами?»



«Не умею. Я в доме чужая, гостья. Я часто сажусь за стол, не зная, какие блюда будут на столе».

«Это для меня понятно. Но захотите ли вы управлять хозяйством?»

«Нечего делать, надобно будет — захочу».

«А если захотите, то верно сумеете. Нечего говорить о том, что вы будете главою дома. Я человек такого характера, что согласен на все, готов уступить во всем — кроме, разумеется, некоторых случаев, в которых нельзя не быть самостоятельным».

(Здесь должен был бы прибавить, что выбор знакомых будет зависеть решительно от нее.)

(А Василий Димитриевич давно уже прискакал, услышав, что я у Васильевых, и давно уже входил и оставил мне только четверть часа на окончание разговора.)

«Я вам скажу еще одно, чего не должно бы говорить».

«Так и не говорите».

«Нет, скажу, потому что мне слишком хочется это сказать. Но раньше, чтобы не позабыть, завтра вы будете на бале?»

«Нет».

«Так и я не буду. А когда вы будете — скажите, чтобы я пришел любоваться на вас».

«Раз когда-нибудь побываю, чтобы проститься (у меня сердце сжалось: неужели замужество со мною будет для нее концом веселья, правда несколько ветреного, но все-таки веселья? но она думала не о том), проститься на 7 недель<sup>223</sup> с этими удовольствиями».

«Пожалуйста же уведомьте меня, когда будете. Так вот что я скажу вам: если б мои надежды быть вашим мужем не сбылись, если б вы выбрали себе человека лучше меня — знайте, что я буду рад видеть вас более счастливою, чем вы могли бы быть за мною; но знайте, что это было бы для меня тяжелым ударом».

«Не до чахотки ли бы это вас довело?» (довольно шутивым тоном, как и весьма часто она смотрела с сомнительною или веселою улыбкою на меня, когда я говорил, и говорила потом мне смеясь).

«Этого я не говорю и этого я не знаю. Но что это будет для меня тяжелым ударом, который мне трудно будет перенести, это я скажу. Помните ж, что я желаю вам счастья, что первый буду рад за вас, но, прошу вас, будьте осторожнее, осмотрительнее в предпочтении мне кого-нибудь».

(Это почти конец моего посещения. Ложусь. Завтра продолжение. — Нет, еще прибавлю, раньше чем лягу.)

Я боялся, что разговор этот менее произвел на меня впечатления, чем разговор в четверг, и что поэтому я буду помнить и опишу его менее подробно. Нет. Он занимает  $3\frac{1}{2}$  листа, тот — 6 листов. Но тот и был вдвое длиннее по времени.

Нет, не лицемерю ли я это перед собою? Кажется, я описывал его в самом деле не так подробно, т.-е. упоминал менее

подробно. Неужели ж уже мое увлечение начинает уменьшаться, и неужели же я скоро увижу, что поступил слишком необдуманно? Но раскаиваться в том, что я так поступил, я не стану. Я стал бы упрекать себя, если бы поступил противным образом. Тогда я стал бы считать себя еще более неспособным на что-нибудь важное и смелое, стал бы говорить себе:

«А счастье было так возможно,  
Так близко!»

Теперь я этого не скажу. Я поступаю, как следует мне по моим понятиям, и так, как предписывает мне мое чувство, которое говорит, что я буду счастлив и горд такою женою и составляю ее счастье.

Да, еще вставки в этот разговор 23 февраля:

1) Я хрустнул пальцами в начале разговора (после только я вспомнил, что это примета влюбленности).

«Бедный, как вы сильно влюблены!»

«Не смейтесь надо мною! Пожалуйста, не смейтесь».

(Ложусь, потому что эта вставка будет длинна — так о том, был ли я влюблен.)

(Продолжаю 25 февраля, в 7 час. утра, как встал.)

«Не смейтесь. Я не говорю, чтобы я был в вас влюблен, потому что никогда не испытывал этого чувства и не знаю, то ли это, что я испытываю теперь, или что-нибудь еще другое».

«Ну, как же вам верить? Вы были студентом, да еще петербургским — знаете, какие студенты повесы? Сколько вы шалили в Петербурге?»

«Я вам говорю правду. Я никогда не испытывал этого чувства, и если вы в самом деле ревнивы, то будьте уверены, что вам нечего будет ревновать ни в моем прошедшем, ни тем более в будущем».

«О прошедшем что говорить — за него ревновать я не стану; будущее — другое дело».

«Нет, вам нечего ревновать и в прошедшем, потому что в самом деле я не любил никого до сих пор».

«И вы хотите, чтобы я этому верила?»

«Я так жил в Петербурге. Верьте, для вас нет в моем прошедшем и тем менее будет в моем будущем предметов для ревности. Я в самом деле не испытал большую часть того, что испытывают все молодые люди. Напр., я ни разу не был пьян».

«Я была раз пьяна, т.-е. не пьяна, а развеселилась».

«Я ни разу. И то же почти обо всем остальном».

2, вставка: Венедикту единицу. 3, я бы желал послушать, что вы будете говорить. 4, я буду уважать мужа. 5, вы вели себя гораздо умнее, чем я.

Еще 2) вставка — это когда я спрашивал, согласна ли она, чтобы я был ее мужем, и она отвечала, что это будет на будущую зиму. — И так, вы теперь согласны, чтобы я был вашим мужем; когда это будет — и это зависит решительно от вас. Я

повторяю, что я не хотел бы, чтобы это было до моего отъезда в Петербург — мне кажется, что лучше, чтобы это было по моем возвращении, потому теперь у меня решительно нет денег. Но если вы хотите, я поговорю с Сократом Евгеньичем теперь же. Мне кажется, однако, что это будет слишком рано».

3) Она сказала (когда разговор был о моей влюбленности и что я не ревнив): «Вы мне нравитесь; если я после взгляну и скажу — ах, какой хорошенький! то ведь это всего на пять минут».

4) Вскоре после как мы сели в зале, я все останавливался и говорил немного с остановками. Она сказала:

«Ну, что же вы не говорите?»

«Я хочу слушать, что вы будете говорить о наших будущих отношениях».

«Что же мне говорить? У меня тоже свои понятия об отношениях жены к мужу».

«Какие же?»

«То, что жена должна всегда помнить, что она жена; должна уважать мужа и еще что — я не скажу».

«Что же? В том, что вы сказали, нет еще ничего особенного — это обыкновенные понятия. Что же вы хотите сказать еще? Мне все можно говорить».

«Как вас мучит любопытство! Продолжайте говорить, что вы хотите сказать, а я свое скажу когда-нибудь после».

5) Когда я сказал, что весьма высоко ставлю свой ум, она сказала:

«Я знаю, что вы считаете себя умнее всех».

«Что вы хотите этим сказать? То, что я считаю себя умнее вас? Напротив, я скажу, что вы в наших отношениях показали гораздо более ума, чем я».

6) После того, как я сказал, что ворочусь из Петербурга с решительным предложением, если она до тех пор не найдет себе жениха лучше, она сказала:

«Конечно мы должны переписываться, чтобы знать ход обстоятельств». (Да, я должен спросить, в каком тоне должны быть эти письма с моей стороны — решительно сухие или с чувствами.)

Теперь я воротился от Шапошниковых, где виделся с О. С., которая осталась очень довольна.

(Итак, прерываю прежнее описание новым и dokonчу его после.)

В 4<sup>3/4</sup> вдруг вбегает ко мне Вас. Дим. Чесноков и отдает записку от С. Г. Шапошникова, потом бежит, говоря, что ему решительно некогда. Там сказано, что в этот вечер будет у них О. С. и чтобы я был. Я тотчас начинаю собираться. Отъезд Николая Димитриевича в Аткарск задерживает меня на 20 минут. Снова собираюсь. Должно пить чай. Таким образом проходит час почти, и в 40 минут шестого я отправляюсь. Когда подхожу к дому, мне навстречу Серг. Гавр. Шапошников, который идет за мною: «О. С. уже час дожидается вас и падала в обморок». Вхожу к

нему в комнату. Мимо меня пробегают девицы, которых я не различаю в своих вспотевших очках. Я думаю, что между ними и О. С. Вхожу в комнату и начинаю протирать очки. Вдруг с постели встает О. С. и шутя говорит:

«Наконец-то! Как долго заставили вы меня ждать! Я в отчаянии! — (тут С. и Ив. Гавр.) — Посмотрите, как у меня бьется сердце!»

И она берет мою руку и прикладывает ее к своему сердцу.

«Что вам за охота кокетничать?» — по обыкновению говорю я.

«Дайте-ка посмотрю, как у вас бьется сердце — где оно у вас?»

И она прикладывает свою руку к моему сердцу. И мы садимся рядом у стола Сергея Гавриловича. И она начинает подсмеиваться над моими долгими сборами.

«Я ему велела каждый раз бриться, как он должен видаться со мною. Боже мой! весь пропитан розовым маслом. Давайте, я причешу вам голову».

И она начинает переделывать несколько мою прическу и заставляет подойти к зеркалу, чтобы убедиться, что теперь я совсем не тот и что теперь я стал очень хорош. Я иду за нею к зеркалу. Между тем девицы уже снова вошли. Мы сидим рядом, но долго и совершенно тихо, поэтому совершенно свободно мне говорить нельзя. Подают чай. В это время я успел сказать ей:

«Я все пишу свой дневник».

«Дайте мне прочитать».

«Вы [не] прочитаете, потому что я так пишу, что мою рукопись кроме меня никто не может прочитать. Но я, если угодно, прочитаю вам его, когда будет время. Сергей Гаврилович (громко), позвольте бумаги, я напишу что-нибудь, чтобы показать, как я пишу. (Тихо.) — Что прикажете написать для пробы?» (Она тихо):

«Ольга, друг моей души».

Я пишу ей своим манером. Она пишет на этом лоскутке: «Коля, тебя любит Ольга». Я рву этот лоскуток.

Да, раньше этого разговор главным образом вертелся на ее кокетстве и на том, что я говорил, что скромность есть лучшее украшение девицы и что она не хочет иметь этого украшения. Наконец, когда она хочет писать еще что-то, я кладу карандаш на другую сторону; она протягивает мимо меня руку, чтобы достать его; я говорю:

«Снова кокетство — вам угодно, чтобы я поцеловал еще вашу руку».

«Вовсе не угодно», — и она не дает мне ее. Наконец, берет карандаш. Я спрашиваю:

«То, что вы будете писать, будет совершенно серьезно?»

«Совершенно». И она дает мне записку: «Женитесь на Симе, она вас ловит. Она добрая девушка, и вы с нею будете (она написала это слово с ошибкою — будите) счастливы».

(О, подумал я, несколько должно бы поучиться вам право-

писанию, а вы, думал я, не делаете ни одной орфографической ошибки.)

«И это вы пишете серьезно? Тут нет ни одного слова правды!»

«Как нет?»

«Кроме одного: ловит».

«Как же вы говорите: нет?» И тут она начинает причесывать мне голову и после, когда... — нет, раньше этого, раньше чаю и раньше чем взошла Анна Ивановна — после разговора о кокетстве и скромности и после как она дает мне целовать свою руку, я говорю:

«Ольга Сократовна» (тут были С. и Ив. Гавр., маленькие дети и Фогелев) — я говорю вслух, разумеется: «Ольга Сократовна, я не понимаю, к чему вы кокетничаете со мною? У меня есть невеста в Петербурге. Наши отношения не могут повести ни к чему».

Она шутя поворачивается (она сидела на стуле, который между стеной с окнами и столом) к стене, закрывает лицо руками: «Я буду плакать!» — и притворяется, что всхлипывает, потом сообщает это известие вошедшим девицам, с которыми садится на диване С. Гавр.

«Хотите, я опишу вам вашу невесту», — и описывает Серафиму Гавриловну, однако в таких лестных выражениях, что я не догадался, и потом, проходя мимо меня на стул, говорит на ухо: «Это Серафима Гавриловна».

Теперь следуют мои слова о дневнике и переписка, после переписки причесыванье головы. Когда я сел, она снова стала подле меня и начала поправлять волосы. Я сказал громко:

«Что вы кокетничали со мною раньше, это понятно; но зачем вы кокетничаете теперь, когда знаете, что у меня есть невеста?»

Она отходит к окну и садится подле Афанасии Яковлевны; сбоку садится Фогелев, я сажусь в углу. Она говорит с Фогелевым. Я говорю о ней, о ее кокетстве с С. Гавр., который сидит подле меня, она показывает вид, что не хочет слушать, хотя слышит, и что сердится на меня.

Через несколько времени я подсел к ней, когда встал Фогелев. Она не хочет смотреть на меня, не хочет дать мне руки, спрятала их, сложив на груди. Я поцеловал ниже кисти.

«Как вы смеете?»

«Что же (вслух) с вами делать? Вы ведь хотите этого», — и я снова поцеловал.

«Как вы смеете делать то, что вам не позволяют?»

«Ольга Сократовна, — сказал я тихо, — неужели я в самом деле оскорбил вас?»

Это я сказал улыбаясь, она посмотрела на меня. Я наверное думал, что это все шутка, но все-таки у меня была слабая мысль, что может быть я в самом деле оскорбил ее тем, что сказал рань-

ше это (раньше, чем я сел рядом, когда встал Фогелев, я сел напротив).

(продолжаю 26 числа в 7 час.)

и тут я сказал... Нет, теперь некогда, после возвращения от Кобылиных буду продолжать.

(Продолжаю, 11 часов почти.)

Передал в гимназии конверт Венедикту для передачи О. С. В конверте письма Саши и Введенского и объяснения значения лиц, которые там упоминаются, потом соображения относительно моих будущих доходов.

Итак, продолжаю.

Итак, сидя против нее, я сказал, что у нее есть целая веревка, сплетенная из волос тех людей, которых она дурачила.

«Там есть и ваши, следовательно, я вас дурачу?»

«Конечно».

Вот за это она приняла вид оскорбленной.

Итак, я подсел к ней. Она отворотилась к окну.

«Ольга Сократовна! простите меня!» — Она не отвечала. «Простите». — Не отвечает. «Дайте мне поцеловать вашу ручку — ведь вам хочется», — она спрятала руки, les mains, сложивши их на груди, но оставила ниже локтя открытые части, потому что рукава были довольно короткие. Я нагнулся и поцеловал.

«Как вы смеете?»

Я снова поцеловал.

«Как же вы смеете, когда вам не дают позволения?»

Я все это делал с шутивым видом. Она продолжала сидеть, несколько отворотясь к окну. Я нагнулся к ее уху.

«Неужели я в самом деле чем-нибудь оскорбил вас, Ольга Сократовна?»

Она несколько оборотилась, чтобы взглянуть на меня, и я в самом деле принял серьезный и несколько унылый вид, потому что в самом деле могло случиться, что я сказал что-нибудь такое, чем другая на ее месте оскорбилась бы.

«Mesdames, пойдемте танцевать в зал», — сказала кто-то из других девиц.

«Вы будете танцевать со мною, Ольга Сократовна?»

«Конечно».

Но вместо залы пошли в комнату Сер. Гавр. О. С. села на диван, я стал поодаль, представляя человека, состоящего под опалою. На столе лежала ее муфта.

«Это муфта Ольги Сократовны», сказал Сергей Гавр., поцеловал ее и дал мне. Я поцеловал тоже.

«Не смейте дотрагиваться до моей муфты», — и я положил и более не трогал. Довольно долго сидели здесь.

«Сядьте на диван подле Ольги Сократовны».

«Не смею».

И наконец я ушел, чтобы показать вид, что и я кокетничаю.



Выкурив папиросу, воротился и сел подле нее. Она все не смотрела на меня.

«Простили ли вы меня?» — Она ничего не сказала.

«Дайте вашу руку». — Не дала. Но сидит, не отворачиваясь, и уже не показывает, что оскорбляется тем, что я сел подле нее.

«Видите, уже готовы простить вас», — сказали С. Г. и Фогелев. Да, вот что значит пококетничать, — и я умею пользоваться этим: ушел, и меня простили, а если бы не уходил, до сих пор продолжала бы сердиться.

«Простите же меня, Ольга Сократовна», — и я взял ее руку. Она со слабым сопротивлением дала мне поцеловать ее. Тотчас пошли танцевать в залу. Там был Гавриил Михайлович, и я должен был сесть и говорить с ним до начала танцев.

«Берите же даму», — сказал мне, наконец, Сер. Гавр., который готовился сесть за фортепиано. И я стал с О. С., которая стала перед столом и в первой фигуре не садилась.

«Вы может быть в самом деле были оскорблены чем-нибудь с моей стороны, Ольга Сократовна?»

«Разумеется, нет».

«В самом деле?»

«Серьезно нет».

Во время шена Катерина Матвеевна сказала мне, что у нее и О. С. есть ко мне просьба. О. С. сказала потом, что эта просьба — танцевать вторую кадрили с Серафимой Гавриловной.

«Конечно, я исполню это; но я решительно не знаю, что с нею говорить».

«Говорите о том, будет ли она в пятницу в маскараде, и просите, чтобы была».

«Да она может примет это за любезность с моей стороны, а я этого вовсе не хочу».

«Нужды нет, говорите».

Во все время кадрили я пожимал руку О. С. и она с теплою приятною пожимала мою. Вторую кадрили с Серафимою Гавриловной, во время которой я и вел действительно этот разговор и говорил больше о том, почему она так мало выезжает. Она кажется действительно была довольна этим разговором, потому что он выставлял в полном блеске ее семейные добродетели и был веден решительно в почтительном тоне с моей стороны. Третью кадрили с Катериной Матвеевной, говорил о том, в кого она влюблена и что я в самом деле думал о ней дня 3 или 4 после того, как видел ее в первый раз у Шапошниковых. После танцев (только три кадрили) девицы ушли. Гавриил Михайлович оставил меня: «Останьтесь с нами, они все увлекают вас» — и я просидел довольно долго, говоря о различных вещах, главным образом о Кобылиных. Наконец, кто-то сказал мне, что девицы хотят, чтобы я пришел к ним и к О. С.; я, наконец, мог идти. Мы сели с О. С. в углу между столом и стеною — я направо, она налево от меня.

«Ольга Сократовна, я был огорчен некоторыми вашими выражениями в нашем прошлом разговоре у вас. Вы сказали, что «разве необходимо, чтобы жена любила мужа, а муж жену?»»

«Что же, разве это неправда? Разве всегда женятся по страсти? Напротив, большая часть бывает так, как я сказала, а все-таки живут весьма хорошо и привязаны друг к другу».

«Но я принял эти слова прямо относящимися ко мне».

«Какой вы смешной!»

«Да, я в самом деле смешон и вашими словами я не оскорбился». — А раньше этого о ревности — вставка.

— «Ольга Сократовна, я говорил вам о себе многое неверно. Я говорил, что не ревнив. Это неправда. Нет, я чувствую, что буду ревнив; только это мое чувство будет у меня решительно не то, как обыкновенно его понимают. Видите, я такого характера, что слишком высоко ставлю тех, кого люблю, и у меня будет постоянно мысль, что я недостоин вас».

«Вы меня не знаете».

«Да, это правда, я не знаю вас совершенно, но я знаю, что вы совершенно откровенны, чрезвычайно добры и что вы чрезвычайно благородная девушка».

«Да, я в самом деле откровенна и у меня не может быть тайн. Если бы с моей стороны был какой-нибудь поступок, я не могла бы его скрывать, я прямо призналась бы в нем».

«Нет, я не о том говорю — какие поступки! Я не о них думаю! Я думаю, о том я такого высокого мнения, кого люблю, что всегда буду считать себя недостойным вас».

«Меня никто не понимает и никто не поймет».

Как мне понравились эти слова — они были совершенно искренни, чистосердечны, происходили от глубины сознания, что ее характер так высок, что его не в состоянии оценить другие.

«Во всяком случае я знаю, что вы совершенно откровенны: опишите себя, и я буду понимать вас так, как вы опишете себя».

В это время вошел Гавриил Михайлович, и я должен был вести разговор с ним и только в промежутках говорить несколько слов с О. С., которая сказала при входе Гавриила Михайловича: «Теперь нам должно прекратить наш разговор шопотом».

Через несколько времени, когда разговор с Гавриилом Михайловичем дал мне время:

«Ольга Сократовна! Умоляю вас, будьте осмотрительнее, осторожнее, если вздумаете предпочесть мне другого. Если вы серьезно и глубоко полюбите другого, я буду рад за вас (NB: когда пишу, у меня навертываются слезы), но перенести это для меня будет тяжело. Как бы то ни было, наконец, я более всего желаю вашего счастья (NB: когда я пишу это, я плачу). Но я не обману вас, не преувеличу, когда скажу — для меня будет тяжело перенести это».

«Это не может быть. Я вообще не могу полюбить». (NB: другого? или она говорит то, что и меня не может полюбить так, как я ее?)

«Я не могу обольщать вас денежными средствами. Но, поверьте, вы не найдете мужа, который бы жил более меня для вашего счастья». (NB: я должен буду прибавить после, почему для меня так тяжело будет потерять ее: я создан для семейной жизни, а бог знает, достигну ли ее; по крайней мере достигну ли во-время, если она покинет меня.)

«Пойдемте в залу», — сказали другие и пошли; и она. Я остался на несколько секунд с кем-то, кажется, с Гавриилом Михайловичем. Когда взшел в залу, мне показалось, что готовятся брать дам, чтобы танцевать кадрили, и я пошел к ней. Она стояла посредине залы. Но наткнулся на веревочку — стояли так, держа ленту, чтобы начать играть в веревочку. Все засмеялись надо мной. — «Он ничего не видит», — сказала она, смеясь. Мне скоро досталось быть в кругу и потом пришлось стоять подле нее, налево от нее. Долго не приходилось мне потом быть в кругу и наконец — говорить было нельзя, потому что никто не говорил с своими соседями по веревочке — мне стало неловко стоять в положении влюбленного, чтобы другие сказали: «вот близки сердцами, близки и местами», и мне хотелось попасть в круг, чтобы стать на другом месте. Но — если угодно, выражение нежной заботливости — когда до меня доходило кольцо с левой руки, я не передавал его ей, чтобы не нашли у нее кольца, а передавал снова налево. Наконец, мне пришлось стоять на другом месте, потом несколько времени (недолго) снова подле нее; кольцо, наконец, утомило играющих, и начали ту игру, чтоб бить по рукам. Ни тогда, ни теперь, ни разу не могли поймать ее — так она ловка! Смешно сказать, но я гордился и этим.

Теперь иду вниз сидеть в одной комнате с маменькой, которая, наконец, кончила свои хлопоты по хозяйству, и буду писать письмо Саше. Потом снова этот дневник, если можно будет писать его внизу при разговоре. Это все писано наверху в моей комнате.

27 февраля, 9<sup>1/2</sup> час. вечера Сейчас воротился от Чеснокова, где была она. Пишу это свидание, те окончу после.

Никогда еще не был я в таком восторженном состоянии, как теперь. Но если я буду писать так, как раньше, то это никогда не кончится. Все наши свидания останутся недописанными, и у меня, наконец, никогда не будет оставаться время на мои занятия, которые я должен кончить как можно скорее. Поэтому я с этого дня стану писать только существенное.

Пятница. Василий Димитриевич Чесноков устроил у себя блины и пришел за мною. У них были (приехали в половине двенадцатого) Патрикеевы, Шапошниковы и она. До блинов я говорил и с ней и с Катериною Матвеевною и с другими. Но когда подали блины и после них закуску, мы ушли в кабинет, оттуда

нас вызвали. Наконец, после закуски начали танцевать. Во все это время ничего особенного, кроме только того, что я, тотчас после, как она приехала, не отходил от нее, оттого, что играл роль почти официального жениха. После закуски и танцев мы сели в зале в углу между окном и дверью из гостиной. Тут я сказал:

(Само собою, что я много раз повторял фразу: «Выбирайте лучшего, если он найдется, но для меня это будет весьма тяжело перенести».)

«Передал ли вам Венедикт письма?»

«Письма Введенского я прочитала».

Она показала мне перед ним много нежности, например, в кадрили, которую одну и танцевала, жала мне руку весьма горячо. Наконец, я сказал:

«Ольга Сократовна! Неужели правда, что вы теперь не пошли бы замуж ни за кого, кроме меня».

«Теперь правда, за будущее я не ручаюсь».

«Вот видите, мои понятия таковы, что на будущее никто не имеет право требовать обязательств. Сердцем нельзя распоряжаться. Единственное, чего можно требовать, это то, чтобы помнили, что нас любят, и у вас столько доброты и благородства, что в этом нельзя сомневаться. Я проповедник идей, но у меня такой характер, что я ими не воспользуюсь; да если б в моем характере и была возможность пользоваться этою свободою, то по моим понятиям проповедник свободы не должен ею пользоваться, чтоб не показалось, что он проповедует ее для собственных выгод. Но от других требовать обязательств на будущее время я не могу».

Потом я сказал:

«По моим понятиям женщина занимает недостойное место в семействе. Меня возмущает всякое неравенство. Женщина должна быть равной мужчине. Но когда палка была долго искривлена на одну сторону, чтобы выпрямить ее, должно много перегнуть ее на другую сторону. Так и теперь: женщины ниже мужчин. Каждый порядочный человек обязан, по моим понятиям, ставить свою жену выше себя — этот временный перевес необходим для будущего равенства. Кроме того, у меня такой характер, который создан для того, чтобы подчиняться».

Она сказала:

«Для меня странно, что в Апостоле на свадьбу читают: «жена да боится своего мужа» — уважать, почитать, это так, но за что же бояться?»

«Это нелепые понятия. Вам кажется странно то, что я говорю о женщине и отношениях жены к мужу. Это потому, что я не знаю степени вашего образования, но вам должно быть неизвестно многое, что должна знать женщина, которая будет замужем за порядочным человеком. Вам не скучно будет слушать меня, когда я буду передавать вам то, что вам неизвестно?»

«Я всегда буду рада слушать».

«Вы говорите об обязанностях и поступках — сущность брака состоит по моим понятиям в искренней взаимной привязанности, все остальное дело второстепенное».

Раньше этого я сказал, что есть все-таки вещи, которые я необходимо должен найти в своей жене — это умственное развитие. Она сказала:

«Так я не могу [быть] вашей женою».

«Я не то хочу сказать, чтоб я считал вас ниже себя по умственному развитию — вы более видели людей, более испытали серьезных вещей, чем я. Но я предполагаю, что вам неизвестно многое из новых понятий о вещах».

Наконец, когда я все это говорил и то, что я буду учить ее, она засмеялась громко так, что ушла в спальню, и потом, когда села снова подле меня и когда подошел Василий Дмитриевич, она сказала:

«Вот он находит, что я не развита, и хочет учить меня уму-разуму».

Это — как она засмеялась и как говорила это, было все так мило, так искренно. Но тут и раньше того, когда мы сидели в гостиной, она высказала мне вот что: когда она была в Киеве, там видел ее молодой человек, богатый помещик, который весьма хорош собою, весьма благородного характера, что он полюбил ее и хочет скоро теперь приехать, чтобы сватать ее — «но я за него не пойду ни в каком случае, потому что я не хочу быть аристократкою». Это все очень хорошо, но что после сказала она, что он мог сделать с ней все, что угодно, и был, однако, так благороден, что удержался — это мучит меня ревностью — так она любит его так, что могла совершенно отдаться ему, а мне не хочет отдаться, т.-е. не отдалась бы? Так она испытала страсть, которую не испытывает ко мне? Нет, это мучительно. Перестая писать. Ложусь. Завтра.

(Это писано 28 февраля 1853 г. в 8 часов утра.)

Когда мы сидели тут же, я описывал, какой образ жизни будет возможно нам вести в Петербурге. Четыре комнаты, 2 человека прислуги, в театр сколько угодно, в Собрание — не знаю решительно, потому что никогда не слышал даже хорошенько об этих отношениях, но думаю, что это там стоит дешевле, чем здесь, и поэтому может быть даже будет возможно.

«В собраниях я бывать не хочу, лучше бывать в театре».

Наконец, как-то разговор повернулся так, что она стала говорить — именно с того, что я сказал: «Ведь я вероятно всегда должен буду жить в Петербурге — вам придется жить в разлуке с Соократом Евгеньичем».

«Что делать! Я очень люблю папеньку, но всегда хотела жить врозь с ним».

«А ведь вы его очень любите?»

«Очень. Когда он был болен, я сказала ему: вы должны жить,

потому что я не переживу вас. И я в самом деле чувствовала, что умру или сойду с ума».

«Он ваша единственная защита».

«Да, он моя единственная защита, не совсем достаточная, но все-таки я живу кое-как при нем; без него я решительно не могла бы жить. Когда он был при смерти, я дня два была в страшном мучении, но потом я стала равнодушна, решительно одурела, потеряла всякую способность что-нибудь чувствовать, была как деревянная. Все плачут, я ничего, спокойна и холодна. Я сказала ему: «Папенька, я умру вместе с вами». — «Нет, я хочу жить для тебя» — для меня, для одной меня, так сказал он — «и я буду жив для тебя» — и он остался жив для меня. Так и когда я сама была больна холерою — я была очень опасна, так что отчаялись в моей жизни, я сказала: «Папенька, я не умру, потому что это огорчило бы вас, я хочу остаться жить для вас», и я осталась жива. (Раньше этого я спрашивал ее об отношениях к Венедикту и Ростиславу.) А мне хотелось все-таки умереть. Тогда я была еще ребенок, но мне хотелось умереть. Не хотелось только потому, что я не хотела огорчать папеньку. А я совсем приготовилась умирать. Я лежала в полузабытии, не видела и не слышала. Я призвала Венедикта и стала делать свое духовное завещание. Отдала ему ключи от своих ящиков. «Ты возьми все (мы были еще совершенно детьми, собирали пяточки и гривенники; у нас их было довольно много), возьми все. Только мой рабочий ящик и мои начатые работы — тебе они не нужны — отдай Анюте. Ты там найдешь мои секреты, не смейся над ними». Он бросил ключи под кровать, заплакал и убежал. Тут я увидела, что он в самом деле любит меня. Маменька ни разу не входила ко мне во все время моей болезни. Я лежала и думала о том, как я умру, как меня будут хоронить, как будут плакать мои знакомые, потому что я непременно думала, что по мне будут плакать; как и кто меня понесет — я хотела, чтобы меня несли — в каком платье меня положат».

Тут же я спросил, можно ли быть у Патрикеевых, т.-е. можно ли видаться с ней там.

«Я очень часто там бываю, каждое воскресенье».

При этом же я снова увидел чрезвычайную мягкость и доброту ее характера. Серг. Гавр. Шапошников, у которого довольно шумело в голове, все подходил, мешал нам и целовал ее руку. Его неотвязчивость и нежничанье видимо весьма грубо оскорбляли ее. Раз она даже рассердилась весьма серьезно. У [нее] стало дергать губу. Но каждый раз и тут даже она по моей просьбе давала ему целовать руку, чтобы отвязаться от него: как много ума и доброты! Это повторялось раз 6 или 8 и ни разу не заставляло ее гнев изменить своей мягкости.

После этого они поехали на катанье. Лошади были горячие, кучер пьян. Я боялся, чтобы не случилось чего-нибудь, хотя и считал свои опасения неосновательными. Я остался у Чесноковых до-



жидаться их, потому что они должны были воротиться пить чай. Очень долго их не было. Я уже думал, что не приедут. Но вдруг нас позвали в дом (мы сидели во флигеле). Входит Катерина Матвеевна, бросается навстречу и говорит, что лошади разбили их (т.-е. Ольгу Сократовну, Шапошникову и Анюту Чеснокову — они сидели вместе на чесноковских лошадях). — О. С. сидит в креслах у дивана в гостиной к той стене, которая к спальне. Я сажусь подле нее. Она со смехом, с истинною веселостью начинает рассказывать:

«Я ушибла правый бок и всю правую сторону. Теперь несколько болит, но я скрываю это, нарочно смеюсь. Лошади стали шалить в катании. Должно было уехать, чтобы они проехались; кучер погнал в гору мимо гимназии — как они неслись в гору! Завез нас на какую-то другую песчаную гору, которую навозили подле гимназии. Мы чуть не выпрокинулись. Хотели ехать в Немецкую улицу, я велела ехать мимо Гуськовых. До половины горы ехали хорошо, потом кучер опустил вожжи, заговорившись со мной, и лошади понесли. Серафима Гавриловна и Анюта стали кричать, я хохотать — что же, если убьют? Я вовсе не дорожу жизнью. Да я и знала, что не убьют. Мы проскакали на Волгу, там сани опрокинулись и разбились. Если бы одна лошадь не упала, нас решительно раздавило бы, убило бы санями. Я упала под низ, другие на меня. Все кричат, ахают, я хохочу. Хотя поднимать меня. — «Я сама встану». А я хотела б, чтобы мне переломило руку или ногу — тогда я посмотрела бы, как меня станут любить».

«И я бы желал этого».

«Потому что тогда в меня не стал бы никто влюбляться?»

(Почти так: «тогда вы не были бы привлекательны ни для кого кроме меня; тогда я был бы единственным существом, любящим вас и любимым вами» — почти такова была моя мысль.)

«Тогда бы увидели, стал ли бы я любить вас попрежнему. Вы в самом деле ушиблись, поезжайте скорее домой, потрите чем-нибудь бок».

«Это пустяки. Вот посмотрите — уже прошло, хоть здесь была опухоль» — она показала мне нижнюю часть кисти левой руки: было несколько заметно, что было оцарапано и только, а здесь была опухоль. И здесь на другой (правой) руке тоже — «все прошло». В самом деле, какая у нее здоровая натура! Опухоль решительно прошла в какие-нибудь полчаса.

«Мы дошли пешком до Шапошниковых. Серафима Гавриловна, которая совершенно не ушиблась, потому что вывалилась на меня, кричала, пищала, легла в постель — «Ах, маменька! ах, маменька!» — мне было ужасно смешно».

Я сидел и слушал все это с каким-то увлечением. Во мне разгоралось восхищение ею, потому что все это так просто, так прекрасно. И опасность ее привела меня в какое-то увлечение, про-

будила во мне такое живое чувство, какого я до сих пор не испытывал подле нее.

Через несколько времени мы пересели на другую сторону гостиной, она села в кресла подле дивана, я в другие кресла подле нее—на той стороне, которая в зале. Теперь стена залы закрывала нас от Ольги Андреевны и Елены Ефр., которые сидели в углу залы к гостиной. Мы просидели так часа полтора. Я почти ничего не говорил, изредка только какую-нибудь фразу, обыкновенно о том, что я люблюсь ею. И в самом деле любовался ею: она удивительно хороша! очаровательна! чем более смотришь на нее, тем более восхищаешься, увлекаешься ею! Тут-то я вполне почувствовал то, что начал чувствовать при рассказе ее о том, как их разбили лошади и чего раньше не чувствовал:

Das Herz wuchs mir so sehnsuchtsvoll.

Да, именно: «Das Herz wuchs mir» Я любовался, восхищался ею. «Как вы хороши!» — «Вы в самом деле обворожительны!» — «Чем более смотрю на вас, тем более увлекаюсь вами!» — «Наконец, если еще продолжать смотреть на вас, в самом деле покажется, что вы первая красавица на свете». — Вот фразы, которые я повторял ей на ухо от времени до времени. И она была в самом деле очаровательна, какое положение ни примет ее милое личико, обернется ли несколько ко мне, облокотясь на правую руку, повернется ли несколько в другую сторону, облокотясь на левую руку, приподнимет ли она головку, опустит ли ее. О, как она хороша! Во всяком случае я не видывал никогда ничего подобного.

Теперь собираюсь к Акимовым, где будет она.

(Писано 1 марта в 9 ч. утра. — Свидание в пятницу 27-го.)

Итак, я сидел и все любовался на нее в решительном увлечении. Она чрезвычайно хороша! Она увлекательна!

«Я в таком увлечении, что поцеловал бы вас, если бы не хотел, чтобы мой первый поцелуй был совершенно таков, как он должен быть и как он здесь не может быть, потому что здесь мешают».

Ее головка была так близка к моим губам (мои кресла были несколько повыше), что я несколько раз слегка поцеловал ее волоса. Наконец, я осмотрелся — из залы и спальни не видит никто, на диване Василий Дмитриевич любезничает с Катериной Матвеевной. Ее головка была так близко — мне казалось даже неловко не воспользоваться этим, мне казалось, что это будет вяло с моей стороны. И тихонько, осторожно я поцеловал ее в лоб. Она тотчас отвернулась и облокотилась на другую ручку кресел.

«Ольга Сократовна, это мой первый поцелуй в лицо женщины». (Раньше этого и потом снова я сказал ей: «Ольга Сократовна! Если вы не будете моей женой, я долго, долго не буду в состоянии позабыть вас». Я хотел прибавить: «Вы будете виноваты, что мое сердце, если будет оно отдано другой, не будет ей отдано вполне, что кроме нее я думал о вас».)

(NB: О том, что я любил другую (Кобылину) и что я любил ее менее Катерины Матвеевны.)

«Вы слишком дерзки!» — И лицо ее приняло опечаленное выражение.

Мне стало жаль ее, мне стало совестно моей дерзости, мне стало совестно того, что я думал, что она сама вызывает меня на это.

«Простите, Ольга Сократовна, простите меня. Я забылся, я виноват, я не мог удержаться».

«А другой, в Киеве, удержался. Он мог сделать со мною все, что хотел, и был так благороден, что не позволил себе ничего».

Итак, она любила его до такой степени, что отдалась бы ему! Итак, она чувствовала страсть и теперь не чувствует ее ко мне! Итак, я не заменяю ей того, что раньше испытала она!

Это была не ревность, это было прискорбие. Это было сожаление о том, что я не так благороден, как другие, что я не могу внушить ей такой любви, значит сделать ее такою счастливою, как могли бы другие! О, я довольно наказан за свою дерзость!

И я продолжал просить прощения, но она все была печальна. Она не сердилась, она грустила. Наконец, может быть через четверть часа, она стала немного не так грустна.

Наконец, вошли в гостиную Ольга Андреевна, Ел. Ефремовна, Дмитрий Яковлевич; стали подавать закуску. Ел. Ефремовна заняла мое место; я стал говорить с Дмитрием Яковлевичем. Наконец, она уезжает, я прощаюсь. Мы свидимся завтра. Я вышел вместе с нею. Она сидела уже к другому краю саней. Василий Дмитриевич вышел проводить ее.

«Ольга Сократовна, позвольте мне сказать вам два слова».

Я обошел сзади саней, она подвинулась на середину:

«Садитесь».

И я сел на правой стороне. Она подала мне руку и с чувством искренности сжимала ее. Так всю дорогу наши правые руки были одна в другой. Я несколько раз с увлечением целовал ее руку. Наконец, встали. При самом приближении к ее дому я сказал:

«Ольга Сократовна, теперь я вижу, что я люблю вас, теперь нет сомнения — мое чувство любовь, не что-нибудь другое. Я люблю вас».

Последний раз я пожимал ее руку, последний раз целовал ее руку.

(Писано 1 марта в 3<sup>3/4</sup> часа по возвращении с визитов от Кобылина и от Чеснокова.)

Описываю наше последнее свидание вчера у Акимовых.

Накануне она мне сказала, что Василий Акимович именинник и что она там будет, но что вечера там не будет, потому что под воскресенье не хотят. Я боялся, что шутя меня не пригласят.

Когда я явился туда в 12 часов, это было уже перед самыми блинами; меня заставили положить шляпу, значит пригласили остаться.

Она была уже там. Явились Пригаровский с Палимпсестовым, и она начала любезничать с Пригаровским. Она сидела в гостиной на краю дивана к той двери, которая ведет в спальню; я сидел на креслах у окна; Пригаровский стал подле нее; она начала шалить его каскою, сломала у нее верх и спрятала в карман, сказавши, что не отдаст. Скоро подали закуску. Раньше этого девицы вышли в залу. С ними ходили более всего Палимпсестов и Пригаровский, я почти совершенно не ходил, а более сидел на диване у печки с Павлом Васильевичем. Когда стали закусывать, я сначала сел подле и спросил, есть ли у нее Кольцов, которого хотел подарить ей. Потом я отошел в угол к столу, на котором стоят трубки и где сидели другие молодые люди. Она стала кормить Пригаровского, который сел подле нее. Я все шутил, шалил, смеялся, мне было мило, чтобы не показывать своей влюбленности раньше времени, и мне было радостно, что я буду жить с таким очаровательным существом. Когда она стала кормить Пригаровского и мне указали на это, я нарочно встал, подошел и сказал: «Иисус Христос накормил 5 000 человек, а вы, Ольга Сократовна, вероятно, кормили целые десятки тысяч».

Потом снова продолжалось то же. Она любезничала с Федором Устиновичем и особенно с Пригаровским, которых, особенно последнего, все держала подле себя; я шутил и смеялся. Наконец, явился Куприянов с братом. Я встречаю его радушно, но (шутя) смотрю на него свирепо. Он подходит к ней, она снимает у него кольцо (сердоликовое), надевает себе на палец и говорит, что оставит у себя. Я прошу показать мне. Как попадаете мне в руки, я беру его поперек, показываю вид, что готовлюсь разломать, и спрашиваю, что оно стоит. У меня его выпрашивают с условием, что О. С. не возьмет его — конечно, все это шутка. Потом вдруг она показывает мне кольцо, завязанное в платок, и говорит, что это Куприянова; я говорю, чтобы отдала, если нет, то будет страшное дело. Она не хочет показать мне и отдать. Я думал, что может быть и в самом деле Куприянова, но хотел, конечно, только продолжить шутку, а вовсе не хотел в самом деле принуждать ее: «Нет? Не хотите показать? Хотите оставить у себя? Так вот же!»

Иду к свече (для зажигания папирос), кладу в огонь палец, держу несколько секунд. Мне кричат: «Отдано, отдано!» Палец в самом деле я себе несколько прожег, так что его жгло часа три.

После продолжу описание вечера. Теперь разговор у Палимпсестова, который начал говорить об этом еще у Акимовых. Мне не хочется ни кончать этой тетради, ни начинать новой какими-нибудь пересудами и сомнениями.

У Акимовых, незадолго до отъезда, после нашего разговора с нею, Палимпсестов сказал мне, что я поступаю совершенно не-

осмотрительно, что общего между нами ничего нет (то-то и есть, что общего много: благородство чувств (смею сказать это), мягкость характера — у нее чрезвычайная — весьма высокая степень ума — и это смею сказать о себе), что наши характеры решительно несходны (это-то мне и нужно, потому что если б такой же характер, как у меня, был у моей жены, мы засохли б с тоски, уныния), что она истаскана душою, между тем как у меня сердце еще решительно свежее. Все остальное оставляя я его говорить без всякого возражения, потому что возражать значило бы быть слишком откровенным; на это сказал:

«Что ж? Обыкновенно истасканные мужчины женятся на свежих девушках, пусть раз будет наоборот».

«Но если она будет продолжать делать то же самое, что теперь? Это кажется лежит в самом ее характере: ей непременно хочется вскружить голову всякому, кто только бывает в одном обществе с нею, — вышедши замуж, она будет продолжать делать то же самое».

«Вот видишь, — сказал я (может быть это и будет так продолжаться, может быть она и будет кокетничать так же, как и теперь, или даже свободнее — я не думаю, кокетство не в ее характере, это вообще живость, бойкость, отчаянная веселость в угнетенном положении), — если она, моя жена, будет делать не только это, если она захочет жить с другим, для меня все равно, если у меня будут чужие дети, это для меня все равно (я не сказал, что я готов на это, перенесу это, с горечью, но перенесу, буду страдать, но любить и молчать). — Если моя жена захочет жить с другим, я скажу ей только: «Когда тебе, друг мой, покажется лучше воротиться ко мне, пожалуйста, возвращайся, не стеснясь нисколько».

Он мне сказал, что хочет переговорить со мною об О. С., и чтоб я зашел к нему на этой неделе. Но когда мы вышли вместе с ним, моей лошади еще не было, и мы с ним и с Вороновым отправились проводить ее. Он сказал — конечно, она понимала, о чем идет дело, потому я так прямо и отвечал.

«Так ты на днях зайдешь ко мне, чтобы заняться составлением реестра для моей статистической статьи?»

«Зайду, только я уверен, что в этом реестре не будет ни одного имени».

«Т.-е. не будет твоего?»

«Ни одного имени, ничьего имени».

«А у меня есть много данных».

«Мои данные повернее, потому что происходят от людей, гораздо более меня и тебя знающих».

(Я бы мог прибавить, что и я знаю этот предмет весьма хорошо потому, что никогда и ни с кем не имел таких откровенных разговоров, и что едва ли много найдется девиц, которые выслушали бы мои слова и поняли их, как она.)

Она шла, опираясь на мою руку; кажется, это было сделано с намерением, и взяла мою руку, чтобы сойти с высокого снега в калит-

ке — кажется, это было сделано ею, чтоб выразить свою уверенность во мне и чтоб поблагодарить за мой ответ Палимпсестову.

«Итак, ко мне?»

«К тебе».

И вот я у него. Я просидел у него с 1½ часа. Вот [что] он сообщил мне:

1) Она сама говорила ему, а раньше говорила ему Бусловская то же самое, но он не верил Бусловской:

У них был учитель, какой-то сосланный. — «Я страстно любила его, но он не любил меня, имел ко мне отвращение, и я все-таки любила его. Когда он женился, я возненавидела сначала его жену, но потом полюбила ее, потому что увидела, что он сделал выбор лучше меня, что она действительно более меня могла составить его счастье, и я до сих пор люблю его, хотя, конечно, не такую страстную, безумную любовью, как тогда, и в другой раз такую любовью не могу любить».

Но (теперь говорю я, через сутки) — А) это, вероятно, детская страсть, потому что у них был последний учитель Мопшинцев\*, значит, тот учитель был раньше его — верно ей было лет 16 — это детская наивная влюбленность. В) если бы это было решительно так и эта страсть была бы не детская, а серьезная, какую, например, питала бы она теперь, то это свидетельствовало бы только о возвышенности ее сердца, способного к истинной любви, и о чрезвычайной доброте ее души, готовой любить даже тех, кто нанес ей такой жестокий удар.

2) Есть М-р Ершов, ничтожнейший, весьма вялый человек (равный мне), теперь помощник контролера в Казенной палате, тогда пиисец. Гусев говорил Палимпсестову: «Она не стоит (он называл ее грубым термином, должно быть потаскушка или негодница) того, чтобы ухаживать за нею.» Вот ты подсмеиваешься над Ершовым, а даже он целовал ее — он говорит так: «Прижмешь, бывало, где-нибудь в коридоре и поцелуешь».

Но, 1) когда это было? Вероятно, давно; Палимпсестов говорит, — верно, давно, год или два; если было — детская шалость.

2) Верно ли, что именно целовал в уста? не в этом важность, а в том, что говорила, что не давала ни одного поцелуя — разумеется, если шутя, насильно, в коридоре — не стоит и говорить об этом; конечно не стоит; да верно ли еще? Едва [ли]. Ершов может быть и не говорил ничего такого, а только сказал, или про него думали, что он любезничал и что она была влюблена в него, как можно сказать, что влюблена в Пригаровского, а Гусев уж употребил более резкое выражение — целовал ее. Одним словом, это вздор.

3) Это важнее, это должно попросить ее объяснить, как это произошло. Бусловская говорила Палимпсестову, что на-днях О. С. сказала ей, что холостая жизнь ей надоела и что она в сере-

---

\* Неразборчиво. Ред.



дине поста даст слово или мне, или Яковлеву. — 1) Едва ли она это говорила, скорее Бусловская сама это сообразила; 2) если говорила, то — А) каким образом возможен для нее выбор между мною и Яковлевым? Б) зачем она говорила, когда я не говорил? Это я спрошу вероятно у нее. Должно быть это выдумала Бусловская.

У Палимпсестова на столе лежит ее браслетка из какой-то материи, которую она на-днях (должно быть, уже после моего предложения) подарила ему. Недавно она прислала ему сердечки конфетные.

Когда все это говорилось, это несколько смутило меня: в самом деле, находит ли она во мне что-нибудь особенное? Или я для нее такой же, как, напр., Яковлев, Палимпсестов? Если так, если она не видит во мне ничего особенного, и в ней самой не должно быть ничего особенного. Нет, это не может быть. Она слишком умна и, что угодно говорите, слишком благородна.

Итак, тогда это несколько смутило меня; даже эти два случая — любовь к учителю и поцелуи Ершова. Тогда я даже хотел расспросить и разузнать об этих двух случаях. Неужели она будет только играть мною? Неужели только играть? Неужели не будет иметь ко мне искренней привязанности?

Теперь мало-по-малу вижу решительно, что все это весьма глупо. Я ее знаю лучше, чем все эти господа.

Как бы то ни было, дело решено. Я не отступаю, не усомнюсь ни в себе, ни в ней. Только бы иметь ее своею женою, только бы устроить свои дела, а то я буду наверное с ней счастливее, чем со всякою другою.

Я решительно спокоен. Я попрежнему уважаю, люблю ее. Не хочу судить судом людей, которые ниже меня, поэтому гораздо менее меня могут [судить] ее.

Я лучше ее знаю. Я знаю ее.

Я люблю тебя. Я уверен, что и ты полюбишь меня, если еще не любишь меня.

О, сомнение прочь! И оно уж прошло.

(Продолжаю описание вчерашних происшествий. Продолжаю, где кончилась 21 страница.)

Наконец, Куприянов сел подле Павла Васильевича. Мне указали на него. Хорошо же, я покажу ему свои чувства. Я сидел в углу и поставил стул так, что сел задом к продолжению стены и к нему, лицом в угол. — «Да вы не к нему одному сидите задом». — Я перенес стул, поставил прямо против него и сел задом к нему. Так просидел несколько минут. Брат Куприянова сказал: «Пора, пойдем». — «Благодарю вас» — и я с чувством (смеясь) пожал ему руку: Он пошел к ней прощаться. И рассыпался в комплиментах. Мне указали на него — «Посмотрите, как он любезничает». — «Хорошо». Я подошел, взял его за руки, повернул спиною к себе и вытеснил из комнаты. Потом затворил дверь и смотрел от времени до времени в щелку.

(Теперь следующая тетрадь.)